

РОМЕН ГАРИ

Грустные клоуны



im WERDEN VERLAG
DALLAS AUGSBURG 2003

Ромен Гари
Грустные клоуны
Перевод с французского

Romain Gary
Les clowns lyriques

The book may not be copied in whole or in part.
Commercial use of the book is strictly prohibited.
The book should be removed from server immediately upon © request.

©Gallimard, 1979
©Издательство «МАКБЕЛ», 2002
©Г. Л. Халявский, перевод, 2000
©«Im Werden Verlag», 2003
<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

OCR, SpellCheck & Design by Anatoly Eydelzon books@tumana.net
Generated by L^AT_EX 2_ε

ОТ АВТОРА

Первый набросок этого романа послужил литературной основой для фильма, снятого в Голливуде более двадцати лет тому назад. Фильм назывался – одному Богу известно почему! – «Мужчина, который понимал женщин», и в нем роль «идеальной пары» играли Генри Фонда и Лесли Кэрон. С моим сценарием фильм не имел ничего общего. Таким было начало моих последующих встреч с Голливудом, и воспоминания о некоторых из них до сих пор иногда преследуют меня по ночам. Что касается романа, который я писал в то же время, то он нес на себе отпечаток того, что Роже Мартен дю Гар называл «словесным поносом», а также избыток негодования, часто обретавший в моих устах звучание реквиема-предостережения: до событий в Будапеште оставалось еще пять лет, до пражской трагедии – шестнадцать, и все двадцать – до того дня, когда, благодаря Солженицину, в лексиконе каждого цивилизованного человека слово «Гулаг» стало синонимом слова «Освенцим».

Кинематографическая Мекка имеет долгую и прочную традицию предательства по отношению к произведениям, которые ее, якобы, вдохновляют. То же самое можно сказать о Мекках идеологических, предающих, извращающих и глумящихся над идеями, которые они же и проповедают. Таким образом, на этих страницах читатель найдет отголоски моих впечатлений от двух Голливудов: того, который я знал, как романист и сценарист; и другого, беспрестанно оскорбляющего достоинство любого нормального человека.

Надеюсь, однажды кто-нибудь проведет сравнительный анализ этих двух полюсов мифологии.

Мне всегда хотелось вернуться к сюжетам и героям некоторых моих романов и рассказов, опубликованных в годы, охватывающие период от раздела Берлина до войны в Корее. К их числу в первую очередь относятся «Цвета дня», «Птицы прилетают умирать в Перу» и «Винный». Я осуществляю свое желание сегодня, когда безумные конфликты, раздирающие человечество сильнее, чем когда бы то ни было, заставляют нас жить в условиях постоянного стресса. Можно не верить в неизбежность ядерной катастрофы, но когда Генеральный секретарь НАТО господин Лунс заявляет нам, что шестьсот советских ядерных ракет нацелены на Западную Европу и их разрушительная мощь в *триста шестьдесят тысяч раз* превосходит мощь бомбы, сброшенной на Хиросиму, то нам остается констатировать лишь одно: от сути фразы, сказанной Верленом сто лет назад: «Боже мой, Боже мой, жизнь идет своим чередом, простая и спокойная. . . », остались только рожки да ножки. Этот глубинный страх несет в себе Жак Рэнье, один из героев моего романа; другой персонаж, Ла Марн-Бедерн, с головой погружается в шутовство, пытаясь смехом и паясничанием оградить себя от беспокоящего чувства тревоги и неуверенности. Связь комического жанра с тревогой и беспокойством известна со времен Бергсона, Фрейда и Чаплина; после Бастера Китона, В. Ч. Филдса, братьев Маркс и многих других актеров сегодня ее прекрасно демонстрирует Вуди Аллен. Бурлеск становится последним убежищем инстинкта самосохранения.

Однако мне бы хотелось предупредить читателя, мало знакомого с моей манерой шутить: я остаюсь до конца верным чаяниям, которые в своих книгах подвергаю оскорблениям и насмешкам, чтобы еще больше испытать их постоянство и прочность. С тех пор как я начал писать, ирония и юмор всегда помогали мне проверить подлинность заявленных ценностей, они являлись своеобразным испытанием огнем, подобным тому, которому верующий подвергал основы своей веры, чтобы она еще больше окрепла, закалилась и поднялась на более высокий уровень.

Р. Г.

I

Стоя у окна отеля «Негреско», Вилли Боше смотрел, как празднуют наступление полдня солнце и море, слившиеся в совершенной гармонии, подобной спокойной уверенности знаменитой танцевальной пары, выступающей на провинциальной сцене. «Потрясающее зрелище», – профессионально оценил он открывающийся вид. Залитое солнцем, лицо Энн, казалось, само излучало сияние и заставляло Вилли напрочь забыть о маске признанного циника и тщательно пестуемой им репутации последнего негодяя. Он был влюблен, влюблен по уши, безоглядно, бесповоротно, до дрожи в коленях и слез на глазах, до готовности целовать землю, по которой ступала ее нога, и это несмотря на решение сохранить по отношению к ней безразличие и холодность, принятое им на рассвете после мучительных ночных раздумий. Он все еще пытался убедить себя и окружающих, что был всего лишь импрессарио знаменитой актрисы и подписанием брачного контракта только укрепил свое положение: в конце концов, муж-сутенер не такая уж редкость, и тем более в Голливуде. Он пытался заставить самого себя поверить в то, что держится за Энн только ради сорока процентов, причитавшихся ему со всех ее контрактов. Временами он даже сожалел, что не может пойти до конца и вычитать с нее свою долю за свои походы по дешевым притонам в компании с докерами: такое высокомерное и пренебрежительное отношение могло бы послужить доказательством его равнодушия, Сутенер становился для него воплощением неуязвимости: формой стоицизма. Но в этом образе сверхчеловека Вилли сразу же разглядел тонкую чувствительность нежного и чистого юноши. Сначала, когда ему еще доводилось воспринимать своего тестя всерьез, он как-то сказал тому, что еще на заре человечества первый мужчина, полюбивший женщину, не отвечавшую ему взаимностью, совершил чудовищную ошибку, вляпавшись в «это грязное дело». Вилли не уточнил, что имел в виду под «этим грязным делом», но Гарантье не нуждался в уточнении. Он знал.

Вилли исполнилось тридцать пять лет. Его глаза лучились задором и весельем, на пухлых губах играла насмешливая улыбка, а подбородок украшала ямочка, которая становилась особенно заметной, когда Вилли умело надевал на себя маску обиженного ребенка. Он был высок, широк в плечах и груди – это вызывало ощущение не столько силы, сколько прирожденного недостатка. Черные кудри вились надо лбом великолепной формы, а тонкие черты лица чем-то напоминали красоту африканских масок на лице белого человека. Иногда он отпускал маленькие усики, которые парикмахеры Голливуда называли французскими по причине их тонкости и четкости формы. Вилли выдавал себя за выходца из Нового Орлеана, в роду которого когда-то давно смешалась французская и африканская кровь. Он учился в Жансон-де-Сайи, в Оксфорде, затем работал в труппах шекспировских театров Ирландии и Стратфорда-на-Эйвоне, в Голливуде. . . На протяжении десяти лет пресса не забывала о его первом фильме, в котором он выступил одновременно как режиссер и исполнитель главной роли. Тогда ему было двадцать четыре года и в Голливуде шли бесконечные споры, кому больше обязан фильм: Вилли или его сценаристу. При этом все сходились в одном: фильм стал важной вехой в истории кинематографа, что, впрочем, не спасло его от коммерческого провала. Работа над вторым фильмом была прервана в процессе съемок. Вилли объяснял это просто: «Кто-то в студии заметил, что мы создаем произведение искусства». На самом же деле, стремясь доказать, что на сей раз он никому ничем не обязан, работая «под гения» и изменяя сценарий каждый божий день, Вилли запутался настолько, что в конце концов

беспробудно запил и перестал соображать, что делает. После ряда финансовых махинаций, которые рухнули столь же быстро, как и были спланированы, он стал жить за счет своего агента, который предлагал его студиям на роли, которые сам Вилли глубоко презирал, но благодаря которым мог удовлетворять свои малейшие прихоти. Вейдманн держал его на контракте, платил три тысячи долларов в месяц и «продавал» студиям по семьдесят пять тысяч за фильм. Разница оседала в его карманах. В то время по этому принципу работали все короли Голливуда: Занук, Селзник, Гарри Кон. Такая форма барского сутенерства сразу же вызвала восхищение Вилли, и он решил, что она как нельзя лучше будет сочетаться с его обликом. Он внимательно наблюдал за методами Вейдманна и очень скоро понял, что тот играет, ничем не рискуя: представляя самых знаменитых звезд Голливуда, Вейдманн навязывал киностудиям своих актеров и свои цены, а если продюсеры его условия не устраивали, то отказывался от их фильмов. Это было банальное могущество, которое породили деньги, и которое теперь их приносило. Однако Вейдманну не хватало мстительного презрения и насмешки, которые Вилли с удовольствием внес бы в предприятие подобного рода. Проще говоря, ему не хватало артистизма. Вилли тут же потерял к Вейдманну всякий интерес и стал делать все возможное, чтобы обойтись ему как можно дороже. Коммерческий провал фильмов не только не запятнал его репутации, но даже укрепил ее и в некотором роде утвердил в глазах всех тех, кто, ассоциируя талант с непониманием толпы, стал рассматривать искусство как форму поражения. Вилли ловко использовал возникший вокруг него ореол молодого талантливого новатора, павшего жертвой системы, чтобы, как он сам говорил, «пристроиться» при нескольких знаменитых актрисах, яркими звездами сиявшими на небесах Голливуда, а затем весьма тонко и деликатно превратить свою нежную дружбу с ними в солидные эксклюзивные контракты. Всем им, в общем, перевалило за сорок, и они начали испытывать ту же панику, которая оставила свой трагический след в жизни Эвы Гарднер, Джуди Гарланд, Хейди Ламар, Вероники Лэйк, Риты Хейворт, Джоан Крауфорд и многих других. Вилли их успокаивал и заставлял по-новому взглянуть на те достоинства, которые они приобретали, расставаясь с юностью – периодом, который, по его словам, своими глупыми порывами мешал постичь глубину собственного Я; теперь же они обретут самих себя, выйдут из плена ягодич, бедер и грудей, забота о которых так долго мешала им наиболее полно выразить себя; с годами придет расцвет зрелости, женщина-объект отойдет на задний план, а глубокая, настоящая индивидуальность актрисы освободится от женщины-объекта, окрепнет, заиграет новыми гранями и поведет ее к вершинам славы. При этом Вилли несколько раз упоминал имя Шекспира и ласково похлопывал своих собеседниц по руке. Он считал, что раскрыл таким образом свою настоящую индивидуальность, что бывает в жизни очень редко, пожалуй, так же редко, как и появление гениев. «Верховный сутенер» – вот что громко и отчетливо прозвонило кончину чувствительности. Усилия, которые он прикладывал, чтобы оправдать этот имидж, совершенно чуждый его натуре, оборачивались жесточайшими приступами астмы и крапивницей. И тем не менее он все больше и больше вживался в образ закоренелого циника, глухого к зову сердца, – сердце, говорил он, это вечный новорожденный, – и ему почти удалось забыть ребенка, которого он так тщательно прятал от посторонних глаз и который громко требовал свою долю любви и чудес, как вдруг подлый удар судьбы вернул ему его истинное лицо.

II

Он встретился с Энн Гарантье в конце войны в Голливуде на приеме в Центре пропаганды Свободной Франции, которым руководил Шарль Буайе. Вилли так отчетливо помнил эту встречу, что иногда ему казалось, будто она навсегда отпечаталась на сетчатке глаз и стереть это картинку не могли ни время, ни горечь поражения.

Он стоял в окружении «своих» звезд и раздавал автографы, улыбаясь «своей» улыбкой, когда она подошла к нему. И в этот момент ему вдруг показалось, что он растворился, исчез. Пока она с ним говорила, – лишь потом он понял, что речь шла о благотворительной распродаже, – он слышал только звук ее голоса: чуть хриловатый и слегка отстраненный, которым, казалось, нельзя произнести первую пришедшую на ум банальность. Этот голос не раскрывался перед первым встречным, не нес невесть какую чушь и не подчинялся власти слов; он все время оставался полускрытым, завуалированным своеобразным ожиданием и сдержанностью, которые свойственны голосу в той же мере, как стыдливость – телу. Невольно закрадывалась мысль, что он хранил свои скрытые интонации и всю полноту звучания для чего-то или кого-то: крика или шепота, человека или идеи – трудно сказать для чего, но чье призрачное присутствие угадывалось в странном оттенке ностальгии. Это был один из тех голосов, которые многократно усиливают желание обладать ими, потому что дают ощущение некой глубины, заполнить которую, как хочется думать каждому мужчине, способен только он один. Иногда, словно последние отголоски детского смеха, в нем проскакивали внезапные нотки веселья и беспечности, что всегда пробуждает у мужчин пресловутое желание взять под свое покровительство его обладательницу и создает у них иллюзию, будто они что-то дают, тогда как на самом деле берут; защищают, хотя в действительности лишь овладевают. Этот странный, отдаленный зов, чуть безразличный и в то же время призывный, которым иногда может быть женский голос, доносится до нас словно из пустоты заброшенного сада, и его непреодолимое влечение пробуждает в нас желание заполнить эту пустоту. И тогда кажется, что чем обширнее она, тем больше места нам в ней отведено. В то время Энн было двадцать два года; сегодня, после восьми лет совместной жизни, ее голос стал еще более отстраненным, еще более безразличным, с каждым словом демонстрируя Вилли всю глубину его поражения. Мало того, Вилли теперь испытывал ежедневную пытку, слыша этот далекий зов, эхо пустоты, заполнить которую отныне мог только другой мужчина. С самого начала их связи она предупредила его: их союз не может быть ничем иным, кроме дружбы. Она рассчитывая полностью посвятить себя искусству, и ничто другое ее не интересовало. И Вилли согласился, едва сдерживая желание расцеловать ту маленькую серьезную девочку в берете и туфельках на низком каблуке, какой она тогда была. Он начал добиваться для нее главных ролей и навязывал ее продюсерам с такой страстью и ловкостью, что сделал из нее звезду меньше, чем за два года. В то же время он привязал ее к себе запутанными контрактами, цифрами, подписями и настолько тонко продуманными деловыми предложениями, что в конце концов брак показался Энн не более чем еще одной подписью на документе, в котором, на сей раз, кроме даты, не фигурировала ни одна цифра.

Так, улыбаясь в объективы, они жили все эти годы – «идеальная пара», «вечные молодожены», – и единственное удовлетворение, которое получал Вилли в данной ситуации, заключалось в том, что ответственность за эту рекламу возлагалась на Энн: таково было условие контракта.

- Еще кофе, дорогая? У нас полно времени. Шествие начнется в три часа.
- Спасибо.

Дочь преподавателя французского языка в нью-йоркском университете, Энн получила образование в Сорбонне и вернулась в Соединенные Штаты, как только началась война. Ее отец был человеком утонченным, не способным проявить себя ни на родине, в Америке, ни во Франции, где он прожил много лет, жестоко страдая оттого, что она не соответствовала его представлениям. Военные годы он провел в своей квартирке на Манхэттене в окружении коллекции произведений абстрактного искусства, размышляя над будущим культуры: с идеологической точки зрения Запад представлялся ему высшей формой помпезного искусства. Вид крови приводил его в такой ужас, что ему было бы легче воспринять известие о гибели человечества, чем согласиться присутствовать при процедуре переливания крови. Невероятное количество кактусов всех форм и размеров заполонило квартиру, взяв хозяина под надежную защиту своих ошетилившихся колючками рядов. На стенах не было ни одного яркого, диссоциирующего пятна. Цветовая гамма была выдержана в нейтральных тонах, прямые углы иногда нарушал скрюченный силуэт кактуса или серая завитушка на полотне Хартунга. Современная мебель, выдержанная в сухом геометрическом стиле, который делал ее такой же бездушной и не более живой, чем скелет в пустыне, дополняла этот целенаправленно созданный антураж, призванный существовать вокруг человека, изо всех сил стремящегося ограничить свою жизнь ее призрачным образом, тысячекратно профильтрованным и, таким образом, избавленным от всего того, что могло бы задеть или ранить. Дно аквариума украшал какой-то лунный пейзаж, созданный из песка и камней, но рыбок в аквариуме не было, или, как говорил Вилли, налицо было наличие их отсутствия. Но среда, в которой существует человек, мало что значит: зачастую она говорит о нем меньше, чем на самом деле скрывает.

Вилли отправился повидаться с будущим тестем незадолго до свадьбы. Это был своего рода визит вежливости, в ходе которого речь шла совершенно о другом: Гарантье горько сетовал на тот низкий уровень, до которого скатилась кинематография, уделявшая, по его мнению, слишком большое внимание живым людям, но игнорировавшая мир форм.

– В принципе, это вина Шекспира, который в литературе дал волю инстинктам, как кобылицам и жеребцам во время течки: с тех пор они так и не уgomонились. Я, прошу заметить, не враг природы. Я очень люблю цветы, особенно те, которые имеют необычную форму и похожи на знак, но не отличаются яркостью окраски и сильным запахом. Сегодня наша чувствительность платит за наши преступления, а наши преступления носят имена Рубенса, Шекспира и этого ужасного Рабле. Искусство плоти и животной страсти настолько расшатало наши моральные устои, что нашло свое естественное завершение в нацизме. Но особое отвращение я питаю к Шекспиру за то, что он излил в поэзии потоки лирической спермы. . . Спермы, – повторил он, видя, что Вилли не понимает, и в устах этого утонченного господина, сухого и безупречного, последнее слово прозвучало с горечью и безграничным презрением, что могло быть следствием подчеркнуто правильного произношения.

– Спер-ма, – с нажимом произнес он. – На французском языке это слово обозначает, как вы знаете, мужское семя.

Стоя у причудливо изогнутого кактуса, он смотрел на Вилли черными грустными глазами.

Перед уходом Вилли вскользь намекнул на свадьбу, хотя испытывал странное чувство, что время и место для этого были неподходящими. Гарантье со скучающим видом глянул в сторону,

– Моя дочь тоже играет на сцене, – сказал он. – Возможно, вы найдете некое общее удовлетворение в. . . в нынешней форме этого искусства. Желаю вам счастья, – без всякого перехода добавил он.

Кончиком пальца Гарантье провел по усам и вежливо проводил будущего зятя до двери.

– Прошу извинить меня, но я не смогу присутствовать на свадьбе. Завтра я уезжаю во Флориду для участия в ряде научных конференций. Ну что ж. . . Вот так. Рад был с вами встретиться. Надеюсь, в искусстве вы оба найдете должное удовлетворение и. . . как бы это сказать. . . обоснованность вашего союза.

В качестве свадебного подарка он прислал им одну из своих картин: одинокая серая клякса на белом фоне, которая могла быть также его представлением о жизни. «Он был прав, – подумал Вилли, и на его губах заиграла ироничная улыбка, подчеркнутая капризными ямочками избалованного ребенка. – Он был прав, потому что одиночество – это не когда живешь один, а любишь один. Никогда не встретить ту, которая никогда вас не полюбит – вероятно, это и есть самое правильное определение человеческого счастья». В отношениях между женщиной и женщиной, когда жалость наверняка убивает то, что сама же и пытается спасти, он не мог ожидать от Энн ничего, кроме ненависти, но у нее по отношению к нему не было даже той вспышки эмоций, которая нужна, чтобы ненавидеть. Вилли все отчетливее ощущал вокруг себя это иное одиночество, год от года усугублявшееся и становившееся все более отчаянным, и это приносило ему острое и неуловимое чувство счастья: значит, несмотря ни на что, у них было что-то общее. Он соглашался довольствоваться этим. Но теперь он рисковал потерять даже то, что было. Энн могла ускользнуть из того круга одиночества, в котором находились они оба: достаточно было случайной встречи, вечеринки у друзей, любой открытой двери. Вилли понимал, что полностью находится во власти случая, и потому уже заранее со злобой смотрел на окружающих мужчин, отлично зная, что они не преминут нанести ему подлый удар в спину. Поэтому он всегда старался быть первым, – что было не более чем превентивным актом мести, – но тем самым лишь множил численность своих врагов. Сама мысль о том, что его любовь могла оставаться безответной, заранее оправдывала, как ему представлялось, любую подлость, которую он мог совершить. Подобная несправедливость со стороны жизни, подобная жестокость просто толкали в объятия цинизма. Все, что он мог сделать другим, не шло ни в какое сравнение с тем, что делали ему. Страстно и безответно любить женщину – вот доказательство того, что судьба – это злодейка в образе балаганного шута, который не заслужил ничего лучшего, кроме как кремового тортика в физиономию. В редкие моменты искренности по отношению к самому себе – за ним водилась такая слабость – в голову Вилли приходила мысль, что в конечном счете именно в кремовом тортике в один прекрасный день найдут четкий, застывший на века отпечаток человеческого лица.

III

Шествие запаздывало. Мимо прошли несколько человек в карнавальных костюмах: неизбежные арлекины, порядком надоевшие шарло и пьеро и даже смеющийся Сталин в обнимку с усыпанным звездами Дядей Сэмом. Но рассчитывать на то, что карнавал в Ницце развеселит душу, было бы большим заблуждением.

Прилипнув к окнам, посетители «Pedro's» ожидали появления карнавальных колесниц. Громкоговорители изрыгали официальную музыкальную тему карнавала: *«Да, да, будет красиво, будет хорошо, будет горячо, все будет розовым, все будет голубым!»*, и Рэнье вспомнил другой припев, который не сходил с уст его пулеметчика Деспьё, погибшего в Нормандии во время боевого вылета в районе Сент-Мер-Эглиз: *«Я верю, что после войны СССР устремится в своем развитии к социализму с человеческим лицом, что Соединенные Штаты пойдут к нему же путем обратной эволюции, и на месте встречи возникнет самая прекрасная цивилизация в истории человечества»*.

– Педро, повтори, – Рэнье поставил на стойку пустой стакан.

– А мне вишневой водки, – сказал Ла Марн.

Деспьё дешево отделался: его убили в 1944-м, когда он парил в небе надежды. Потом с раздела Берлина началась холодная война и Сталин попытался схватить американцев за яйца, а вторжение в Корею, где войска Объединенных наций пытались остановить убийцу, усевшегося на трон Ивана Грозного, стало ее продолжением.

Рэнье с большим трудом удалось записаться добровольцем: у него не было руки. Но присутствие ветерана испанской войны, бойца Сопротивления, кавалера ордена «Участники Движения Сопротивления» имело символическое значение, которым не следовало пренебрегать. И его взяли – как живую легенду. Ближайшим пароходом, отправлявшимся из Марселя через десять дней, ему надлежало отбыть к месту дислокации французского батальона ООН. А пока он коротал время за барной стойкой вместе с Ла Марном, который ехал вместе с ним, но, по его словам, не по убеждению, а за компанию. Они заехали в Ниццу, чтобы окунуться в почти семейную атмосферу карнавала и попрощаться с Педро, хозяином бара, который сейчас мыл стаканы по другую сторону стойки. Своим черепом, одновременно лысым, бритым и седеющим, Педро ходил на боксера, и никому даже в голову не могло прийти, что он получил университетское образование в Испании, преподавал антропологию в университете Саламанки и находился в изгнании после прихода к власти Франко. Рэнье познакомился с ним еще во время гражданской войны. Педро уже тогда был коммунистом, он был им всегда, но с тех пор он сильно изменился. Хотя, в конечном счете, речь не идет о коммунизме. Коммунизм тут ни при чем. Он не имеет ничего общего ни со Сталиным, ни с виселицами Будапешта или Праги. Коммунизм – это идея. Очень красивая идея. Никто не имеет права судить идею по результату ее воплощения в жизнь. Она создана не для этого. Любая идея сворачивает себе шею, едва опустившись на землю. Она всегда вымарывается в дерьме и крови, когда попадает из головы в руки. Нельзя выносить суждение об идее по преступлениям, которые совершаются во имя ее, да и вряд ли удалось бы найти идею в социальных моделях, построенных на ее основе. В метро есть реклама, уж не знаю какого товара: *«Я смеюсь оттого, что вижу себя такой красивой в этом зеркале»*. Но идея не может отражаться в зеркале. Никто не имеет права судить о коммунизме по его изображению в русском зеркале: в нем виден только Сталин.

Рэнье допил свой стакан. Чрезвычайно трудно порвать с самим собой, иными словами – порвать с потребностью в справедливости и свободе для других.

Тем не менее он пытался. После пятнадцати лет политической борьбы и вообще всякой борьбы, пройдя путь от Дворца солидарности в Испании и Лиги борьбы за права человека до партизанского отряда и эскадрильи английских ВВС «Лотарингия», в составе которой он воевал с 1943 по 1945 годы, в погоне за хрупкой человеческой мечтой он начал серьезно подумывать о службе в полиции, надеясь порвать с самим собой. Но он знал, к чему бы это привело: он бы попытался придать полиции «человеческое лицо», привнести некий дух рыцарства и чистоты к вящей радости воров и убийц.

И тогда он уехал к себе в Рокбрюн и начал писать книги для детей, отвечая категорическим «нет» всем организациям, пытавшимся заручиться его поддержкой, всем комитетам, ассоциациям, партиям, союзам, движениям, лигам, фронтам, объединениям и даже призывам своих товарищей по Соппротивлению, вступившим в новые сражения за все то же дело, – свободу, – товарищей, которые могли жить, дыша лишь полной грудью.

Он ждал, но она не приходила. Деревушка Рокбрюн располагалась в стороне от шоссе дорог, и, чтобы найти ее, нужно было трястись по проселкам, зная, что она находится где-то в этих краях. «Жизнь – это случайная встреча», – написал философ Мартин Бубер. Нужно еще раз дать шанс случайной встрече, дать шанс шансу. Женщине, о которой не известно ничего, даже то, существует ли она. Погоне за мечтой. Временами Рэнье мучила мысль, что пока он ожидал ее в Рокбрюне, она, возможно, искала его в Эзе, Ла Турби или Ницце. Он даже подумывал о том, чтобы съездить в Мексику: было у него смутное предчувствие. . .

Она либо придет, либо нет. Одна встреча – и справедливость восстановлена. Один взгляд – и борьба не напрасна. Это именно то, что Ленин называл революцией, и если он никогда не говорил этого вполне определенно, то лишь из-за стыдливости. Но Ленин смог выразить свои мысли в молчании. Присущий ему талант он использовал для того, чтобы почтить любовь своим потрясающим молчанием. Он, не сказав ни слова, посвятил свой труд нежности женской груди, сладости женских губ; и то, что осталось невысказанным им о любви и женственности, в конце концов ослепило вас своей очевидностью. . . Недосказанность, которой пронизан весь его труд, является самой многозначительной по сравнению со всеми красивыми словами, которые когда-либо мужчины слышали о любви, и то, что Ленин никогда не произнес вслух, будет вечно стучать в сердцах людей. Это его самое прекрасное, самое красноречивое послание.

Он рассмеялся. Осторожно! Еще немного, и речь пойдет о распущенности.

Распущенностью я называю право ставить любовь пары превыше всего – туда, куда по ошибке иногда помещают солнце. Кое-кто скажет, что я иду против течения, выступая в защиту распущенности, то есть права каждого из нас выбирать свое собственное солнце, а все остальное называть тьмой.

В американской Конституции есть статья, в которой говорится о праве каждого человека самому искать свое счастье. *Pursuit of happiness*. Пугающая ответственность!

Законоположение ошеломляющее и беспощадное: поиск счастья, как вам это нравится?

Тогда почему не пожизненная каторга, если уж на то идет?

– Как дела, клоуны? – спросил Педро.

– Нормально.

На прошлой неделе Рэнье попытался вспомнить точный текст одного изречения из Горького. «*Грустные клоуны, которые исполняют свой человеколюбивый номер на арене капиталистического цирка. . .*» Нет. Не так.

– Это из Горького. . .

– Чего? Что из Горького? – насторожился Ла Марн, который всегда боялся, что его уличат в недостаточно высоком культурном уровне.

– Грустные клоуны. Буржуазный идеализм. Ничего. Педро, налей еще стаканчик.

– Вы придете в Корею пьяными в стельку, – сказал Педро.

Рэнне держался за барную стойку, и на его губах играла насмешливая улыбка: ирония уже с давних пор была необходима ему в отношениях с самим собой. Пустой рукав – левый – был засунут в карман пиджака. Двадцать пять лет прошло с тех пор, как ему исполнилось двадцать. В двадцать лет еще позволительно думать, что любовь – это образ жизни. Но теперь ему было сорок пять. В этом возрасте уже следовало обрести зрелость рассудка – эту хваленую зрелость, которая невольно ассоциировалась с хорошо вызревшим сыром.

И тем не менее он все еще ожидал ее. Он пытался представить ее с помощью всех известных ему женщин, поскольку в жизни наступает такой момент, когда все встреченные женщины превращаются в отчетливый образ той, которой вам не хватает. Это то, что они оставляют вам на прощание. Одолжение, которое вам делают. И наконец вы отчетливо видите ее в череде меняющихся образов, и ей недостает только одного – материальности. Я бы ее тут же узнал: ее так не хватало другим! Да и как ошибиться после стольких попыток, после того, как перед взором пронеслось столько лиц, глядящих на тебя с укором и немым тревожным вопросом в глазах: «Что я сделала? Почему ты так на меня смотришь?»

Ла Марн допил водку и рассматривал вишню, лежащую на дне стакана.

Они ничем не могли помочь друг другу: они были мужчинами. Единственной женщиной в баре была взгромоздившаяся на высокий табурет проститутка с горжеткой из чернобурки на плечах. «Шлюха, – подумал Ла Марн, – нечто мужеподобное и грубое». Он с отвращением отвернулся.

IV

Ла Марн – кто знает, так ли его звали на самом деле? – был невысок и смуглолиц, волны крашенных иссиня-черных волос падали ему на щеки, подобно приподнятым вороновым крыльям, а черты его лица не были лишены определенного латиноамериканского изящества. В былые времена о таких типах говорили: авантюрист, темная лошадка. На самом деле он был поляком, сыном портного из Лодзи. Длиннющие трепещущие ресницы оттеняли его карие миндалевидные глаза, в которых светилась доброта и почти физически ощущалась мягкость, более уместная для тонкой лайковой перчатки, чем для мужского взгляда. Стремясь изменить это впечатление и закалить характер, он провел пять лет в Иностранном легионе, и, вероятно, был единственным человеком в его истории, которому с таким взглядом удалось дослужиться до старшего сержанта. Потом он получил французское гражданство и обосновался во Франции, однако так и остался франкофилом. В детстве, когда польские приятели дразнили его жиденком и частенько колотили, он на них не обижался, потому что они были не французами, а бедными маленькими варварами. Иногда друзья подшучивали над ним, говоря, что немцы побили французов в 1870-м. Ла Марн с палкой в руке бросался на этих обманщиков, а после прятался, чтобы поплакать в одиночестве. Старый школьный учитель, который прекрасно понимал, в чем дело, никогда не решался рассказывать при нем о войне 1870 года. Чтобы научить детей терпению, в школах рассказывали об истории Франции, революции, нравах человека, свободе, равенстве, братстве, и Ла Марн оказался особенно восприимчив к этим урокам.

Если бы не война, то его жизнь во Франции, несомненно, представляла бы собой серое существование, разбавляемое ежегодными парадами 14 июля и собраниями в защиту прав человека во Дворце солидарности. Июль 1940 года превратил его в существо третьего сорта, но он все еще цеплялся за прежнюю жизнь, веря, что *это были всего лишь танки*. Но желтая звезда, комиссариат по делам евреев и облава французской полиции, одетой во французскую форму, лишили его последних иллюзий. И это было в порядке вещей: он начал изучать Францию по книгам, и в течение долгого времени ее голос доносился до него издали, словно звук охотничьего рога из глубины леса. Даже получив гражданство и живя в Париже, он продолжал его слышать. Но внезапно звук оборвался. Ла Марн перестал понимать происходящее. Он пристально вглядывался в лица французов по происхождению, однако и они тоже, похоже, больше ничего не понимали, хотя полной уверенности в этом не было; возможно, звук продолжал звучать в них, просто он этого не знал. Он был совершенно сбит с толку. Первые месяцы после поражения он обожал маршала Петэна и проклинал англичан, виновных в трагедии Мерс Эль-Кебира*. Он разобрался в происходящем только тогда, когда оказался в Дранси** в ожидании депортации. Там-то он все понял. Он сбежал, обзавелся фальшивыми документами и занялся спекуляцией в Марселе. Но окончательно избавиться от прошлого ему не удалось: он снова услышал звук рога из лесной чащи. На сей раз он звучал на волне лондонского радио и назывался де Голлем. После очередного приступа франкофилии он присоединился к партизанам Савойи, назвавшись Ла Марном.

*Французская военно-морская база в Алжире, где 3 июля 1940 года кораблями ВМФ Великобритании была обстреляна стоявшая на рейде французская эскадра, отклонившая ультимативное требование англичан продолжить войну против Германии или разоружиться. В результате бомбардировки погибли 1300 французских моряков. (*Здесь и далее прим. пер.*)

**С 1941 по 1944 гг. – перевалочный концлагерь для заключенных-евреев.

- Педро, еще порцию звука рога в лесной чаще. Со льдом.
- Вы доберетесь до Кореи в стельку пьяными, – повторил Педро.
- А в каком, по-твоему, виде мы должны туда добраться?

Отношение Ла Марна к жизни приобрело форму бесконечной пародии: он пытался нейтрализовать *это* прежде, чем *это* с ним произойдет. Вместе с тем, Ла Марн не мог вразумительно ответить, что он подразумевал под словом *это*. Юмор и шутовство были призваны смягчать удары, но, превысив необходимый жизненный минимум, они стали напоминать дьявольский танец жертвы, с которой заживо сдирают кожу. Вот так Ла Марн постепенно превратился в настоящего вертящегося дервиша.

Первая встреча Рэнье с его будущим другом состоялась на следующий день после Освобождения. Рэнье тогда временно работал в Министерстве внутренних дел: это был трудный период, когда единство, выкованное Соппротивлением, начало трещать по швам, и он пытался предотвратить противостояние и замедлить процесс раскола, происходившего прямо на глазах. Прежде всего Рэнье изучил личные дела своих подчиненных. Он вызвал Ла Марна.

- Я просмотрел ваше личное дело.

Ла Марн ждал продолжения, вытянувшись по стойке смирно.

- Я обнаружил, что вы обвинялись в совершении публичных развратных действий.

Лицо Ла Марна приняло удовлетворенное выражение.

- Так точно.

- Мне придется потребовать вашего увольнения из кадров.

- Я всего лишь выполнял свой долг.

- И в том случае тоже?

– Так точно, господин директор. Это было ужасное время. Франция попала в лапы монстров, и на меня накатил приступ... э-э... солидарности. Я хотел выразить свои чувства, пережить этот ужас вместе со страной. Я хотел реально почувствовать апокалипсис, падение... .

- Малышке было четырнадцать лет.

- Мои моральные ценности рухнули вместе со всем остальным.

- С тех пор они вернулись на прежний уровень?

Длинные ресницы Ла Марна затрепетали, и он бросил на Рэнье укоризненный взгляд. Но Рэнье еще не знал этого грустного клоуна и не понял его немного призыва спуститься на сцену, чтобы сыграть в спектакле вместе с ним.

– Мой поступок имел чисто символическое значение, в нем не было ничего личного, – сказал Ла Марн. – Но в последующем он оказался очень полезным. Благодаря ему я попал в полицию нравов.

Он снова посмотрел на Рэнье – никакой реакции. Ла Марн вздохнул и жестом виртуоза – этаким Паганини шевелюры – запустил пятерню в волосы.

– Видите ли, господин директор, из-за этого небольшого казуса в моем личном деле я влип по уши. Я даю гарантии власти, которой служу: ей известно, в чем я грешен. Она держит меня на крючке. Она знает, что я ни в чем не могу отказать ей, и может полностью рассчитывать на меня.

Рэнье начал понимать: он хорошо разобрался в том, что могло послужить защитой уязвленной чувствительности.

Ла Марн по-прежнему стоял навтыжку, касаясь мизинцами боковых швов форменных брюк, как ни о требовал строевой устав, и делал все возможное, чтобы его понял человек с внимательным взглядом, потерявший руку в борьбе за спра... за бра... за Фра... за нечто непроизносимое. Он дал ему «ля» – Рэнье оставалось только настроить свою скрипку. Он

излучал послания, пронизанные юмором, в надежде быть понятым тем, чья чувствительность настроена на ту же длину волны.

И Рэнье действительно понял, насколько далеко может зайти человек в своем шутовстве, когда в ходе служебного расследования стало ясно, что обвинение, фигурировавшее в личном деле Ла Марна, было ложным и сфабрикованным им самим.

Ла Марн был уволен из полиции по состоянию здоровья, а вскоре после этого подал в отставку и Рэнье. С тех пор они стали неразлучны.

– Педро, я просил еще порцию звука рога в глубине леса, и побольше.

– То, что вы делаете, просто отвратительно.

– Что?

– Я имею в виду Корею.

– Да здравствует Сталин!

– Люди приходят и уходят, а идеи остаются. Вы знаете, чего вам не хватает? Свободной Франции. Вместо нее вся эта чушь: Корея, крестовые походы. Знаешь, что тебе следовало бы сделать, Рэнье? Отправиться в Мексику и основать там Свободную Францию. Не стоит думать, что от де Голля не будет никакого толка. В следующий раз выиграет тот, кто первым дорвется до микрофона.

– Я тоже так считаю.

– Так что отправляйтесь основывать настоящую Францию где-нибудь в глубине тропического леса. И тогда она будет только наша – девственная и чистая. Сокровище сьерры Мадре.

– Социализм с человеческим лицом, – заметил Ла Марн. – Грезы любви.

– Фашист тоже может мечтать о любви.

– Что это вы себе позволяете? – возмутилась сидевшая рядом потаскуха.

– Речь идет не о вас, – успокоил ее Ла Марн. – В вашем случае идеологией даже не пахнет.

Группа туристов, в которых без труда можно было узнать англичан, вошла в бар и устроилась за одним из столиков. Их было человек десять, и они могли свободно занять два или три стола. «Привычка к жесткой экономии, – подумал Ла Марн. – Они всадили нам нож в спину в Мерс Эль-Кебуре». Что же касается Рэнье, то тот всегда испытывал симпатию при виде любого англичанина, и причиной тому были Королевские военно-воздушные силы и битва за Англию. Он тут же вспомнил Ричарда Хиллари, Гая Гибсона и остальных товарищей по эскадрилье, на рассвете отправлявшихся на боевое задание в белых пуловерах и с шарфами вокруг шеи. Иногда он видел, как они исчезали в клубке яркого пламени, вспыхивавшего, словно маленькое солнце, рядом с его самолетом. При виде любого болвана из Манчестера память возвращала его в недавнее прошлое с той же легкостью, с какой кусок сахара поднимал на задние лапки дрессированную собачонку.

– Рене Мушотт, Мартель, Гедж, товарищи по Освобождению, – пробормотал Рэнье.

– Бельмонт, Манолет, Домингэн, – в пику ему произнес Ла Марн.

– Они точно устроят корриду на аренах Симье, – сказала девка.

– Жаль, что она проститутка, – проворчал Ла Марн.

– Послушайте, вы! – возмущенно взвизгнула его соседка. – Соображайте, что говорите!

– Прошу прощения, мадмуазель, – извинился Ла Марн. – Поверьте, я вовсе не вас имел в виду. Я думал о человечестве в целом.

– А-а, тогда ладно, – успокоилась жрица любви.

– Выпьем еще что-нибудь? – предложил Ла Марн.

– То же самое, – отозвался Рэнье. – Всегда то же самое. До последнего вздоха.

– Педро, – сказал Ла Марн, – еще один «Бурбон-Парм» и «Орлеан-Браганс», раз уж мы в такой благородной компании.

Педро наполнил стаканы.

– Кorteж! – закричал кто-то.

Все вскочили со своих мест.

V

Крейсер медленно пересекал залив, направляясь в сторону Италии; руки горизонта, казалось, поддерживали его на голубом полотне; над берегом стоял неподвижный и в то же время оживленный столб чаек. На этом величественном фоне воробей, скачущий за окном, выглядел совершенно неуместным, попавшим сюда словно по чьему-то халатному недосмотру. Энн улыбнулась ему. «Естественно, – подумал Вилли, кипя от ярости, – звезда первой величины и маленький воробышек». Он начал ненавидеть эти вечные символы, все то, что было таким же настоящим, как пшеничное поле, цветущая яблоня, влюбленная пара. Они ободряли Энн, словно несли с собой определенную значимость, какую-то неуловимую надежду – и не трудно было догадаться какую. Он попросил Гарантье сопровождать их в этой поездке только потому, что его тесть постоянно брюзжал, негодуя по поводу всех этих зазывных подмигиваний и прочих «непристойностей». Пора бы, говорил он, покончить с открыточкой сентиментальностью и потребовать от природы сменить вечный стук кастаньет, вечное тра-ля-ля на что-нибудь другое. Но Энн уже давно научилась правильно понимать речь отца: он привык говорить все наоборот, постоянно противореча самому себе, чтобы выразить прямо противоположное тому, что чувствовал на самом деле, о чем молчаливо кричал на протяжении последних двадцати пяти лет. Вынужденная расшифровывать смысл его слов, Энн в конце концов составила своего рода личный словарь эквивалентов. Когда отец говорил о пейзаже, «банальном, словно почтовая открытка», она знала, что он видел пейзаж, пробудивший в нем романтические мечты; когда слово литература он сопровождал эпитетом «непристойная», это означало, что в ней шла речь о любви; «поистине примитивная женщина» оказывалась женщиной, которая призналась ему в своих чувствах и взволновала его; «пещерное искусство» было искусством, приносившим в мир гармонию, а не разрушавшим его; «интеллектуал, достойный этого слова» всегда представлял собой такого же, как он сам, эмоционального калеку, нашедшего утешение в абстрактном искусстве. Вилли рассчитывал, что Гарантье постепенно отвратит дочь от эмоциональности, «непристойности» чувств, страстей и ожидания, и тогда он увлечет ее за собой в высшие сферы разума, где она больше не будет прислушиваться к каждому «мяуканью инстинкта», но в результате все вышло совсем иначе: он оказался в компании с человеком, каждое слово которого и даже просто присутствие, казалось, подбадривали Энн, не давали ей погрузиться в пучину отчаянья, помогали ждать, словно сам Гарантье был живым свидетельством всемогущества любви. У Вилли возникало смутное подозрение о существовании тайного сговора между отцом и дочерью, и стоило этой мысли прийти ему в голову, как он тут же выходил из себя. Теперь он насмешливо наблюдал за ними, зажав в углу рта сигару и придав своему лицу привычное выражение отвлеченности.

Он знал, что с тех пор, как Энн исполнилось тридцать лет, она периодически испытывала приступы растерянности и страха. За неделями самовольного затворничества, когда она, пылая возмущением, никого не принимала, чувствуя себя лишенной естественного права женщины перестать быть эскизом и обрести законченную форму, но не желая при этом быть брошенной на пол подобно едва начатому рисунку, который тут же теряется среди других набросков, предметов, лиц, слов, городов, идей. Мир, в частности, был для нее чем-то вроде нескольких торопливо взятых нот еще не написанного произведения. За моментами сомнений и отчаяния следовали приемы и приглашения, на которые она с жадностью соглашалась в предчувствии встречи. Иногда доходило до того, что новое имя, неоднократно произнесенное при различных обстоятельствах в присутствии Энн, вызывало у нее смятение, граничившее с паникой;

она видела в этом некое предзнаменование, знак судьбы и ждала встречу, испытывая раздражение против самой себя; когда же ей, наконец, представляли незнакомца, то он невольно принимал это раздражение на свой счет. Несчастный озадаченно спрашивал себя, почему знаменитая Энн Гарантье, с которой он обменялся всего парой ничего не значащих слов, так явно демонстрирует ему свое плохое настроение и очевидную антипатию.

Вилли давно разобрался в перепадах настроения Энн и мастерски играл на них. Так, ему случалось создавать в воображении своей жены образ мужчины, говоря о нем вполголоса с напускным безразличием и пренебрежением, что она воспринимала как знак, или с враждебностью, которая тут же истолковывалась ею в пользу незнакомца. Вилли не забывал описывать его самыми черными красками, чтобы он не мог не привлечь внимания Энн, либо приписывал ему вкусы, черты характера и образ жизни, которые, якобы, не заслуживали ничего, кроме презрения, но которые поражали Энн своим благородством. Так, постепенно, он создавал между нею и незнакомцем нечто вроде тайной связи. Затем, оборвав разговор, возвращался к нему спустя несколько дней, вкладывая в свои слова холодность или же злобный сарказм, которые Энн воспринимала как реакцию на предчувствие опасности. Наконец Вилли приглашал жертву к себе в дом и, невинно улыбаясь, с триумфом наслаждался крушением грез своей супруги, стараясь при этом ничего не упустить: ни взгляда, ни следа гнева или растерянности на ее лице – наивно и без особой надежды полагая, что постоянные разочарования в конце концов приведут к желаемому смирению.

Однако единственным результатом, к которому он пришел, наблюдая за ней, такой романтической и молодой, еще полной впечатлений от первого бала, было чувство охватившей его невыразимой нежности, самые робкие проявления которой она немедленно отвергала, жестоко мстя таким образом за свое разочарование. Так что все его хитроумные уловки рикошетом били по нему больше, чем по ней. Однако Вилли продолжал свою игру не столько для того, чтобы заставить ее страдать, сколько для того, чтобы показать всю несбыточность ее надежд. Он часто знакомил ее с умными и духовными мужчинами, в которых был уверен, зная, что они не способны выйти за рамки приличий и разума и что свою яркую индивидуальность они превратили в настоящую профессию, что было еще одним способом лишиться индивидуальности. Он постоянно был рядом, чтобы затем насладиться ссорой, и слушал, как эти специалисты заливались соловьями, применяя все свое искусство нравиться, чтобы соблазнить его жену. Иногда он подыгрывал им, скромно подавая реплику, которая еще больше подстегивала их красноречие. Вилли сожалел, что у Энн не было любовных интрижек: наслаиваясь друг на друга, ошибки и напрасные поиски, возможно, обеспечили бы ему успех.

Короче говоря, по пути усмирения он зашел настолько далеко, насколько это было возможно.

Но тщетно.

Уступать не хотел никто.

Энн жила в ожидании встречи, о чем красноречиво свидетельствовали случавшиеся с ней временами приступы сомнения и уныния; стоило Вилли прочитать во взгляде или улыбке жены поселившуюся в ней надежду, как он начинал задыхаться или испытывать зуд по всему телу; безуспешно пытаясь обнаружить вещество, вызывавшее у него такую реакцию, крупнейшие специалисты-аллергологи проверяли его на всякую гадость, начиная с кошачьей шерсти и кончая помадой и косметическим молочком Энн, которым она смывала макияж. Вилли жил в постоянном страхе потерять ее. Любой мужчина мог в любой момент выйти из толпы и отнять ее у него, но больше всего он боялся того, что ненароком сам станет причиной такой встречи. Возможно, для этого ему достаточно будет сказать: пойдём сюда, а не туда, зайдём в это кафе, отправимся в эту поездку... Он постоянно ощущал свою уязвимость и,

привыкнув использовать в своих целях слабости других, не рассчитывал на пощаду: в личных отношениях, которые каждый человек, как ему кажется, имеет с судьбой, он чувствовал себя так, словно над ним навис дамоклов меч. Находясь в таком состоянии, он временами не осмеливался открыть дверь, выбрать отель или заказать места в театре среди незнакомых лиц.

А накануне отъезда в Европу Вилли испытал настоящую панику, которую тут же связал с предчувствием.

Контракты были подписаны, рекламная кампания запущена, съемочные павильоны в Ницце заказаны – отступить было некуда. Во Франции предстояло снять два больших фильма: один по Флоберу, второй по Стендалю. Вилли хотел, чтобы Энн сменила амплу: банальность ролей, которые она обычно играла, заставляла ее ненавидеть свою профессию, и он боялся, как бы не оборвалась та единственная ниточка, которая их соединяла. Он дошел до того, что сам начал серьезно верить в то, о чем с цинизмом говорил многим женщинам: идеальным заменителем любви является художественное творчество. Вилли жалко цеплялся за эту идею. Он сам предложил проект съемок двух фильмов в Европе и легко добился контрактов, но в последний момент испугался. По ночам, накинув роскошную красную пижаму, – только этот цвет немного скрывал пятна экземы, – он бесцельно бродил по своим апартаментам в нью-йоркском отеле. Терзавший его страх усилился настолько, что у него одновременно проявились экзема, сенная лихорадка и астма. Вилли задыхался и беспрестанно чихал, приступы изнуряли его до такой степени, что у него даже не оставалось сил чесаться. Ему приходилось будить Гарантье и просить, чтобы тот почесал его одной из тех щеток с жесткой щетиной, которые делали для Вилли по спецзаказу.

Приступ астмы обострился настолько, что им пришлось отложить отъезд на целую неделю. Вилли тщетно пытался найти законную уловку, чтобы аннулировать контракты. Он не понимал, абсолютно не понимал, как мог совершить такую глупость. «Именно в Европе происходят подобные вещи, – беспрестанно твердил он про себя. – Это же сводня. Самая отвратительная сутенерша – вот что такое Европа. Она ждет нас, потирая руки, с мерзкой ухмылкой на старой морщинистой роже. Она обязательно сведет Энн с каким-нибудь типом, и долго ждать этого не придется. Так оно и будет».

– Но что на меня нашло, что со мною случилось? Мне же все-таки следовало бы знать, что так будет, я же в этом разбираюсь, ведь я сам сутенер!

Весь красный и лоснящийся от пота, задыхаясь и чихая, Вилли лежал на диване, пока теть, не задавая лишних вопросов, чесал ему спину: физические проявления реальности, даже неприятные, Гарантье предпочитал психологическим и уж тем более – о ужас! – чувственным. Поэтому он делал свое дело и молчал.

За два дня до отплытия «Куин Элизабет» Вилли поехал в офис Белча. Белч был, вероятно, единственным человеком, которым Вилли искренне восхищался и в присутствии которого чувствовал себя маленьким мальчиком. Он изо всех сил пытался скрыть это чувство, но Белч, казалось, видел его насквозь. В золотые времена гангстеризма он работал на Аль Капоне, но пятнадцать лет назад завязал с темными делишками и стал одним из заправил Лас-Вегаса и теневым инвестором киностудий Голливуда. В глазах Вилли он был настоящим героем, или человеком, сумевшим подчинить себя определенным этическим нормам, настроиться на ту низкую ноту, которую давало общество. Это был маленький худощавый итальянец с дряблым лоснящимся лицом и слегка обвислым носом, на его лысом черепе блестела напомаженная прядь редких волос, и на первый взгляд могло показаться, что у него нет зубов. Он встретил Вилли с выражением снисходительного нетерпения на лице, как будто заранее знал, что ничего серьезного от него не услышит.

– Ну, Вилли, как дела?

– К черту, Белч, дайте мне отдышаться. Неужели вы не видите, что у меня приступ астмы?

– Хорошо, тогда выкладывайте, в чем дело, и отправляйтесь в постель. В таком состоянии не стоило приезжать, если нечего сказать.

Вилли сморкался, отчаянно хватал раскрытым ртом воздух и с упреком смотрел на Белча.

– Вы отправляетесь в Европу, Вилли? Во всех газетах полно фотографий самой счастливой в мире супружеской пары.

– Да, – задыхаясь, ответил Вилли. – Послезавтра. Я приехал попросить у вас человека. Телохранителя. Если помните, я уже говорил с вами на эту тему.

Белч сунул было палец в ноздрю, но вовремя спохватился и лишь крепко сжал кончик носа.

– Вот уже год, как мы с вами не виделись, – ответил он, – так что. . .

– Видите ли, проблема осталась прежней, – жалко произнес Вилли.

– Понимаю, – сочувственно сказал Белч. – Но рано или поздно врачи научатся лечить эту дрянь, вот увидите. У них получится, не расстраивайтесь.

– Я говорю не об аллергии, а о своей жене, – заметил Вилли.

– Они уже нашли эту штуку, как бишь ее. . . антигистамины, и скоро найдут все остальное. Я читал об этом в «Ридерс Дайджест». Они вас вылечат. Я в этом уверен. Похоже, что четверть населения Соединенных Штатов страдает аллергией. Вы представляете, сколько рабочего времени пропадает впустую? Но они найдут средство. А пока позвольте мне проводить вас до машины и отвезти домой. Хорошая ингаляция. . .

– Мне нужен человек, Белч, – сказал Вилли. – Особенно в Европе. Серьезный человек, который мог бы оградить мою жену от. . . от ненужных встреч.

– Вы хотите сказать, от мужчин.

– Телохранитель. Кстати, как зовут того парня, о котором говорили в связи с вами? Со-прано?

– Ну что вы, Вилли, – возразил Белч. – Не принимайте всерьез того, о чем говорят по телевидению.

– Белч, мы с Энн собираемся провести некоторое время в Европе. Снять два – три фильма. И мне страшно. Европа – это старая сводня.

– Ну и что? У вас прекрасные отношения.

– Да. Но мне нужен человек, который избавил бы мою жену от ненужных встреч.

– Я знаю, что вы молоды, Вилли, но я уверен, что вы сможете научить старушку Европу кое-каким хитростям вашего ремесла.

– Послушайте, Белч, дело серьезное. Я защищаю свои деньги, вот и все. Вы прекрасно знаете, что стоит нашим звездам ступить на землю Европы, как начинаются большие проблемы. Они обязательно кого-нибудь там находят, и их уже ничем не заманишь назад в Америку. Возьмем, например, Ингрид Бергман и Росселлини. . . Голливуд ему этого никогда не простит, на него ополчились все движения в защиту морали, ни одна студия не хочет иметь с ним дела. Я не хочу подвергаться такому риску, вот и все. В Европе есть нечто такое, что цепляет их на крючок. . . Не знаю, правда, за какое место. Но они теряют головы. Мы едем во Францию и Италию. Именно там, как правило, все это и происходит. Это две сутенерши, и там может произойти любое свинство. Италия и Франция занимаются этим всю жизнь. Одна из них сыграет со мной злую шутку, я это чувствую.

– Тогда бросьте эту затею и оставайтесь дома, – посоветовал Белч.

– Хорошо бы, но теперь я ничего не могу поделать. Дело сделано. Любой человек может совершить ошибку.

Белч с насмешливым видом ущипнул себя за кончик носа.

– Так что конкретно вы от меня хотите? Чтобы я велел своему человеку незаметно, как-нибудь ночью, избавиться от Европы? Договорились. Рассчитывайте на старого Белча.

– Мне не до шуток. Вы прекрасно видите мое беспокойство. Там я ни минуты не буду чувствовать себя в безопасности. И не заблуждайтесь: это вопрос денег, больших денег. Если Энн останется в Европе, мне конец. Я покойник. В финансовом плане, конечно.

– Сколько вы на ней зарабатываете?

– Сорок процентов, – ответил Вилли. – И это все. Продюсеры терпят меня только из-за нее. Если бы не она, меня бы уже давно. . .

Он судорожно хватал воздух открытым ртом.

– Благодаря ей я, возможно, смогу убедить студию помочь мне в реализации задуманного проекта. Продюсеры должны пойти мне навстречу. Видите ли, кроме всего прочего, это еще и вопрос искусства.

– Отправляйтесь домой и ложитесь в постель, – мягко посоветовал Белч.

– Так у вас никого нет на примете?

– Вы любите свою жену и это прекрасно. Заведите с ней детей. У меня самого их пятеро. Это пойдет вам на пользу. Но в любом случае не рассказывайте мне сказки. Вам наплевать на деньги и женщин. Вы дорожите женой и боитесь потерять ее, а в результате приходите ко мне и устраиваете здесь кино.

– Я вас не обманываю, – жалобно произнес Вилли, – честное слово. Студия обеспокоена не меньше меня. Они уже несколько раз обжигались на Европе и дали понять, чтобы я был начеку. Я же не говорю, что от меня потребовали чего-то большего. Но тем не менее я ведь имею право взять с собой телохранителя, разве нет? Хотя бы для того, чтобы оградить себя от поклонников, от толпы. В конце концов, мы – люди известные во всем мире. Так как вы сказали, э-э. . . Сопрано?

– Я ничего не говорил, – Белч пожал плечами. – Его депортировали на Сицилию, если уж вам так хочется знать. Он проходил по одному делу с Лаки Лючиано. Выслан на родину. Сейчас дремлет где-то под оливами, и, вероятно, без гроша в кармане.

– А вы бы не могли связаться с ним? – спросил Вилли. – Мы будем на французской Ривьере, это в двух шагах оттуда. . . Послушайте, Белч, чего вы боитесь, ведь до Европы пять тысяч миль. Пусть он спокойно ждет меня в отеле. Все расходы за мой счет. Он будет жить припеваючи. Ему даже не придется видеться со мной. Все, что от него требуется – быть под рукой на протяжении четырех месяцев. Он даже может взять с собой старушку-мать, если она у него есть. Все расходы я беру на себя. Мне достаточно знать, что он рядом, и я буду чувствовать себя гораздо увереннее. Девять шансов из десяти, что его услуги мне не понадобятся. Ничего особенного не случится. Энн не похожа на других женщин, у нее есть голова на плечах.

Вилли чувствовал себя уже лучше. Дышать стало легче и зуд, донимавший его, ослабел.

– Ничего не случится. Просто это вопрос душевного равновесия. Я буду знать, что, если какой-нибудь тип станет слишком назойливым, мне достаточно будет подать знак и. . . – он выразительно щелкнул пальцами.

– Вы как малое дитя, – вздохнул Белч. – Вам следовало бы родиться вундеркиндом.

– Я привык добиваться своего, – кокетливо сказал Вилли.

– Не знаю почему, но я всегда питал симпатии к сукиным сынам вроде вас, – произнес Белч.

– Между нами много общего, и этот момент также не является исключением, – ответил Вилли.

Белч нацарапал несколько слов на листочке бумаги.

– Держите, – сказал он, протягивая Вилли записку. – Сообщите ему название банка и укажите сумму, которую будете переводить на его счет в начале каждого месяца. Он обязательно придет за деньгами. Положите этот листок в карман и забудьте о нем до тех пор, пока не случится что-либо из ряда вон выходящее. . . Я вас не провожаю, поскольку вижу, что помощь вам больше не нужна. Вы выглядите веселым и невесомым, словно зяблик. Когда-нибудь и я, быть может, отправлюсь в Европу, особенно после того, что вы мне о ней рассказали. Теперь, когда дети уже выросли, я сам был бы не против повстречать там кого-нибудь! Скажу откровенно, меня очень заинтересовал ваш рассказ.

Насвистывая, Вилли вышел из офиса Белча. Он отправил на Сицилию письмо, но так и не получил ответа. Но одно он знал совершенно точно: банковский счет, открытый им в Ницце на имя Сопрано, опустошался ежемесячно. И этого было достаточно, чтобы в течение всего пребывания на Лазурном берегу он вел себя с Энн довольно непринужденно, с некоторым отеческим и чуть ироничным превосходством. Где-то возле них находился человек, оберегавший их счастье и легенду об «идеальной паре». Иногда, стоя на ступеньках отеля в ожидании, когда Энн закончит раздавать автографы, Вилли высматривал в толпе силуэт или лицо человека, которому он доверил бы роль Сопрано. Однако так и не увидел никого, кто показался бы ему достойным Джорджа Рафта в «Лице страха» или Джека Паланса в «Прощай, Рио». Впрочем, от реальной жизни не следовало ожидать ничего другого. Теперь ему больше нечего было бояться: через день они улетали в Штаты. Он торопился привезти Энн в Голливуд, в ту среду, которую она знала достаточно хорошо, чтобы не ждать от нее ничего хорошего. Голливуд – поистине идеальное место, где можно не опасаться ненужных встреч, с чувством признательности думал Вилли. Внезапно на него нахлынуло такое ощущение триумфа и могущества, что он, подобно горилле, едва не забарабанил кулаками в грудь в знак полного контроля над ситуацией. Но это продолжалось всего лишь мгновение. Одного взгляда на Энн хватило, чтобы горилла превратилась в Микки Мауса и забилась в угол, свернувшись в комочек и поджав хвост.

Она была так прекрасна. . . Ни одна морщинка не изуродовала ее лицо. Придется еще долго ждать, прежде чем возраст спрячет ее от случайной встречи под покровом пятидесятилетия, когда платья, белье и чулки женщины начинают таинственно стареть в глазах ее возлюбленного, и когда он, чтобы не сбежать, должен цепляться за нее всей силой своей любви. Энн оставалось еще шесть – семь лет молодости, затем столько же – зрелой красоты, после чего ее лицо станет лишь бледным подобием и напоминанием того, чем было раньше, вызывая в сознании молодых людей ощущение, как от пропущенного свидания, и наводя на мысль о какой-то роковой ошибке в их судьбе.

В течение нескольких секунд Вилли с удовольствием представлял себе и со знанием дела заранее размещал будущие морщины на лице Энн. Особое внимание он уделял шее: там, как раз под подбородком, есть маленькое местечко, которое всегда увядает первым; возраст хватает женщину за горло, и тогда вся нежность и деликатность исчезают, уступая место суровой реальности. Вилли любовно посмотрел на свое отражение в зеркале: шея гладкая, сигара в уголке рта, чашка кофе в руке, прищуренный от дыма глаз. Главное – терпение, понадобится еще десять, может быть, двенадцать лет. . . Для Энн его мысли вовсе не были тайной, как-то раз в порыве любви он сам крикнул ей об этом.

Он допил кофе и со вздохом удовлетворения поставил чашку.

Глаза, естественно, никогда не стареют, что еще больше осложняет ситуацию. Нет ничего тягостнее для молодого человека, чем встретить женский взгляд, пылающий молодостью и мечтой, и сразу же обнаружить всю смехотворность того, что он обещает.

Вилли с наслаждением втянул в себя ароматный дым сигары.

После еды на щеках появятся красные пятна, которые плохо сочетаются с обильным макияжем, а ноги – да, ноги, – он задумался на мгновение, пытаясь поймать ускользающую мысль, – ноги сохранят свое изящество, но ни к чему больше не поведут, и вместо того, чтобы пробуждать желание, будут все больше и больше угнетать его. Вилли хорошо разбирался в этом вопросе, потому что в самом начале своей карьеры водил, выражаясь его собственными словами, «очень нежную дружбу» с одной зрелой дамой из Голливуда, которая обрела славу и состояние еще в двенадцатилетнем возрасте, став очаровательным вундеркиндом киноэкрана. Когда он встретился с ней, она была маленькой пухленькой женщиной, сохранившей в свои сорок девять лет детские кудряшки, отчего ее кукольное и вместе с тем морщинистое лицо приобрело вид, как нельзя лучше ассоциировавшийся с любовью к пекинесам и кондитерским изделиям. Вилли всей душой ненавидел ее из-за этих кудряшек и манер, свойственных маленькой девочке, но еще больше за то, что она сохранила непреодолимую ностальгию по возвышенной и чистой любви, которая усиливалась по мере того, как она старела. К пятидесяти годам она начала всерьез верить в Прекрасного принца и превратила вечную молодость души в старческий любовный маразм. Взглядом специалиста Вилли оценивал лицо Энн и уже не знал, от чего испытывал большее удовлетворение: то ли от своей сигары, то ли от сладкого предчувствия своей победы.

Тем не менее следовало признать, что до желаемой цели было еще далеко. Лет десять, может, больше, может, меньше, думал он, с немой мольбой вглядываясь в лицо Энн, в надежде увидеть хоть одну морщинку, хоть намек на одутловатость. Но ее шея оставалась мраморно гладкой, а то место под подбородком, с которого начинается увядание женщины, хранило изящество и свежесть лилии. . . Это было просто ужасно. Вилли почувствовал комок в горле. Все, что было самого нежного на земле, сконцентрировалось в этой грациозной шее, при виде которой у него просто опускались руки. Каштановые волосы Энн – тривиальное сочетание света и тени – не вызывали особых эмоций до тех пор, пока их не касалась рука. Ее карие глаза с прозрачным янтарным отблеском напоминали Вилли мерцание осенних листьев на аллеях парка, где прошло его детство. Все его предки были садовниками в имении графов д'Иллери в Турени. Когда Вилли объявил о своем намерении эмигрировать в Америку, отец проклял его и умер от горя. Теперь от парка не осталось и следа, его превратили в картофельное поле, а Вилли помог последнему из рода д'Иллери устроиться в Америке, где он имел. . . где он занимался. . . короче, где он давал уроки верховой езды. Вот так он часто придумывал себе законченные и нелепые биографии. Про него все говорили, что в нем было что-то «от идиота». К сорока годам он сохранил облик подростка, который, казалось, никогда не постареет. «Во всем виноваты гормоны. – снисходительно объяснял он своим друзьям. – Это своего рода кретинизм». Вилли уставился в огромное зеркало, занимавшее всю стену. «С кольцом в ухе и смуглой кожей я был бы похож на берберского пирата. Это напоминание о моих черных предках. Странно, почему на студии этого не заметили». Он тщательно скрывал, что кровь в его жилах была на четверть черной. Его волосы слегка кучерявились, а в чертах лица прослеживалась явная округлость, в которой отдаленно угадывались контуры африканских масок, но об этом никто не догадывался. Возможно, именно этим объяснялась его склонность к фантазии, потребность постоянно что-то скрывать, замечать следы. Разумеется, в его жилах не было ни капли черной крови, просто он сам это придумал, как, впрочем, и все остальное. Вилли достал сигару изо рта.

– Вы действительно не хотите остановиться в Париже, дорогая? Было бы глупо уехать в самый разгар показа коллекций, не купив ни одного платья.

– Я бы хотела задержаться здесь еще на несколько дней, – ответила Энн. – Я ничего не

видела, кроме съемочного павильона.

– Я знаю, дорогая. Это очень, очень заманчиво... Но в понедельник у вас начинаются съемки на студии «Фокс». Мы еще вернемся сюда.

VI

Энн выросла рядом с человеком, которого несчастная любовь истерзала до такой степени, что все, имевшее отношение к любовным переживаниям, стало выглядеть в его глазах чем-то гнусным и непотребным. Имея перед глазами такой пример, она еще в детстве торжественно поклялась, что будет любить только искусство, и это решение Вилли поддерживал, как мог.

Перед свадьбой она поехала в Нью-Йорк повидать отца. Он принял ее со всей обходительностью, обычно проявляемой к малознакомому человеку, с которым не стремятся поддерживать дальнейших отношений. Был прекрасный сентябрьский день, и он заставил ее любоваться замысловатыми арабесками, которые рисовало солнце на белой, абсолютно голой стене комнаты, отражаясь в стеклянных горшках с кактусами.

– Я очень люблю стекло за его прозрачность и ненавязчивость, – сказал он. – Кроме того, приятно видеть вокруг себя предметы, которые ничего не скрывают и через которые все видно. И в этом кроется бесспорный урок мудрости. Тем не менее случается, что под лучом света кусок хрустала внезапно начинает сверкать всеми оттенками красного, голубого, желтого, фиолетового. . . Да, забавно думать, что у хрустала тоже бывают моменты слабости, страсти. Иногда это дает мне мимолетное ощущение превосходства.

Оставив ее одну, он поспешно вышел на кухню, чтобы приготовить чай. С закрытыми глазами Энн замерла в пустоте, окружавшей ее со всех сторон, словно беззвучный крик, словно безмолвный протест. Может ли такое быть, чтобы, достигнув определенной глубины, одиночество не трансформировалось во встречу: возможно ли, чтобы одиночество было неисполнимой молитвой? В этой безжизненной квартире, где все дышало холодом отчуждения, Энн немедленно почувствовала присутствие противоположного полюса – полюса страсти: именно его она старалась найти. Ей нужно было увидеться с отцом, чтобы успокоиться, чтобы найти подтверждение тому, что его сломало.

Отец возвращался, толкая перед собой сервировочный столик с чайными приборами. Он казался несколько обеспокоенным и заговорил, едва переступив порог гостиной:

– В газетах много пишется о твоей свадьбе, и я счастлив, что ты делаешь отличную карьеру. Ваши фотоснимки печатают во всех изданиях, и когда я вижу их, и слышу все эти замечательные. . . э-э. . . истории, которые рассказывают о вашем счастье, я чувствую, что вам придется затратить меньше усилий, чтобы найти взаимопонимание. Почва для этого уже подготовлена. Самое опасное для обыкновенных людей, – каким был я в твоём возрасте, – это трата собственного воображения на придумывание любви. Этот взнос настолько велик, что его всегда стремятся возместить счастьем. Но за вас хорошо поработали рекламные агенты, и вам самим не придется ничего вкладывать.

Энн наливала чай с чуть виноватой улыбкой, которая появлялась на ее губах каждый раз, когда отец, глядя куда-то в сторону, чтобы не встречаться взглядами, начинал откровенничать с ней. Он понимал всю нелепость своего отрицания, потому что оно лишь подчеркивало силу того, что он отвергал. К тому же, человек восстает лишь против того, что держит его в неволе, а мятежная жизнь – это, прежде всего, жизнь, полная ограничений. Он знал все это, но продолжает отрицать крик, ибо такова была его манера кричать. Выбор невыразительности, полутона, а также его философия абажура были не чем иным, как признанием чувственной жизни, за пределами которой он растворялся в серой мгле.

– Когда ребенок воспитан правильно, то в критический момент он не придет за советом. И тогда возникает чувство, что ты был хорошим отцом.

Энн улыбнулась, она хотела бы взять его за руку, но знала, что этот жест будет ему неприятен. Серьезность, с которой смотрели из-под ровно подрезанной седой челки его молодые глаза, окруженные сеточкой морщин, казалось, исключала всякое веселье: юмор – тоже печальное чувство. За спиной Гарантье до самого потолка возвышались стеллажи с книгами, большинство из которых, насколько она знала, являлись не чем иным, как примерами торжества полиграфии над содержанием. Гарантье часами наслаждался этими шедеврами книгопечатания, в которых главным был не смысл слов, а их форма, и где, как он был уверен, ему не встретится бесконечно вульгарное слово «любовь» в сочетании с другим, не менее пошлым – «вечная».

Они замолчали.

В такие моменты Энн испытывала к отцу нежность, которая волновала ее и была проявлением не столько дочерней любви, сколько пониманием женщины. Молчание объединяло их. Гарантье знал: она приехала к нему в поисках новой надежды, вечно свежим источником которой было его одиночество.

Жена Гарантье сбежала с мексиканским тореадором, которого знала всего двое суток. Два дня, все может произойти за сорок восемь часов, говорила себе Энн в те моменты, когда ее одолевали сомнения.

– Я видел твои последние фильмы, – сказал Гарантье, – и считаю, что ты сыграла очень искренно. Особенно сильно получились любовные сцены. Похоже, они служат тебе своеобразной канализацией. Несомненно, это потребность в самоочищении и освобождении от всего лишнего.

Гарантье набил трубку и раскурил ее: в один прекрасный день он начал курить трубку, поскольку пришел к выводу, что это коренным образом отличает его от тореадора.

– Что меня забавляет в кино, – продолжал он, – так это доступность любви: можно подумать, что у судьбы нет никаких других забот, кроме как составлять пары... Конечно, я готов согласиться, что есть люди, которые действительно способны любить, однако они тщетно ищут друг друга и никогда не встречаются.

Несколькими резкими ударами он выбил остатки табака в пепельницу.

– Ужасное влияние шекспировской или голливудской эпохи – что, в принципе, одно и то же – заключается в том, что миллионы людей проводят жизнь в ожидании и поиске, вместо того, чтобы спокойно заниматься своими делами. Великая любовь, если я могу так выразиться, конечно же, существует, но лишь в виде параллельных линий, которые никогда не пересекаются. Зато банальная любовь встречается. Я считаю, что в этом есть какая-то предопределенность: каждый мужчина должен встретить женщину, которая ему предназначена. Именно в этом вся проблема. Предопределенные встречи – это всегда банальные встречи, что же касается других, то они никогда не происходят... – он достал трубку изо рта и еще раз отчеканил: – никогда.

Гарантье махнул рукой.

– Лишь живописи иногда удастся показать нам мир, отвергающий конкретные формы. В литературе, театре, кино мы еще ждем того, кто покажет всю драму параллельных линий, которые никогда не сходятся. В конце концов, чтобы человек был совершенно счастлив, ему достаточно знать о невозможности любви. Тогда он забудет о живущем в нем страхе упустить свою судьбу и постареть. Люди станут мудрецами в двадцать лет.

Тем не менее Энн показалось, что в последней фразе отца прозвучали нотки страха.

– Я полагаю, твой приезд связан с предстоящим замужеством, кроме того, ты хочешь, чтобы я еще раз рассказав тебе о матери, – сказал он бесцветным голосом, как будто никогда не прекращал говорить о ней. – Она уехала, как ты знаешь, со своим мексиканским тореадором,

и они прожили вместе шесть месяцев. Потом его убил бык. Бык, – повторил он с ухмылкой, – я, как видишь, здесь ни при чем.

Он на мгновение замолчал, разглядывая чубук своей трубки, потом устремил на дочь полный нежности взгляд. Он улыбался.

– Скажи мне, Энн. . . ты представляешь себе, что произошло? Ты можешь представить, чтобы женщина ушла от меня к тореадору? Я говорю это не из тщеславия, наоборот. . . Но как она могла так ошибаться? Я хочу сказать, как она могла выйти за меня замуж?

Раньше он никогда так открыто – откровенно, без наводящих расспросов – не затрагивал эту тему.

– Вы никогда не встречались с другой женщиной?

– Никогда, – ответил Гарантье. – Человек живет только один раз.

VII

Карнавальная процессия двигалась по широкой улице; в едином порыве все бросились к окнам, и у стойки, где осталось несколько человек, ненадолго воцарилась атмосфера покоя и задушевности, как в своеобразном братстве бедняков, что иногда случается в барах. Опустив головы и глядя друг другу в глаза, подобно оленям, скрестившим в поединке рога, Педро и Ла Марн говорили о политике; девица в мехах курила с таким выражением на лице, будто принадлежала к другому биологическому виду. У другого конца стойки Рэнье заметил элегантного господина в клетчатом костюме с галстуком бабочкой и белой гвоздикой в петлице, лайковых перчатках и сером котелке. Его левая бровь была слегка приподнята, и он казался в стельку пьяным, если только, по меньшей мере, на него не давило бремя ответственности, взваленное на его плечи американской Конституцией: поиск счастья, *pursuit of happiness*. . . Тут было от чего остолбенеть и превратиться в камень. Глаза незнакомца были слегка навывкате, а щеки надуты, словно он на что-то дул или пытался сдержать приступ смеха. В остальном же он выглядел очень достойно и держался как человек, который никогда не отступает от своих принципов.

– Этот тип – лучший из всех, кого я видел, – заметил Педро. – Он даже больше не пьет. Живет за счет своих запасов. Сидит на этом табурете со вчерашнего вечера. Закрываясь, я, должно быть, забыл его выпроводить.

О, месье Педро, – восхищенно мяукнула девица с чернобуркой на плечах, – может, нальете мне что-нибудь?

Педро плеснул ей коньяка.

– Если вы думаете, что в это состояние его привел алкоголь, то вы ошибаетесь, – уверенно заявил Ла Марн.

Покачиваясь, он подошел к джентльмену – Ла Марн не был по-настоящему пьян, но ему нужен был повод – и, как большая добродушная псина, дружелюбно обнюхал занявшую гвоздику. Все были счастливы, что он ограничился только этим.

– Ну что там? – поинтересовался Педро. – Освенцим? Хиросима? Война в Корее? Или все остальные, которые за ней последуют?

– Полная прострация, – отозвался Ла Марн. – Чтобы остаться безучастным ко всем этим ужасам, он настолько глубоко ушел в себя, что теперь не может даже пошевеливаться. Абсолютный коллапс. Стоицизм. Он так долго терпел, что в конце концов сломался.

– Свинья, – фыркнула девица.

– Исключительная натура, поднявшаяся над суетой и решившая спасти свою человеческую добропорядочность, вот кто он! – горланил Ла Марн. – В безучастности он нашел такое надежное убежище, что уже не может из нее вырваться. Исчез, вознесся в заоблачные выси. Своей отрешенностью он хотел подняться над миром, над нацистскими концлагерями, над сталинским Гулагом, но для этого ему пришлось так крепко сжать челюсти и все остальное, что теперь он не может вымолвить ни слова. Не способен даже расслабить сфинктер. Одним словом – аварийное состояние. Не знает, кто он, что здесь делает и зачем. . . Или же изображает непонимание и оцепенение человека дней нынешних, как, впрочем, и минувших, столкнувшегося с кучей серьезных проблем. Полная оторопь гуманиста перед лицом человеческого варварства. Или же этот негодяй пытается уйти от ответственности. Выйти сухим из воды, всем своим видом показывая, что он здесь ни при чем, что он чистенький. Вы только

взгляните на него: кремовые перчатки, безупречные стрелки на брюках, гвоздика в петлице. Непокосим в своем желании примазаться к нашей чистоте и достоинству!

– Должно быть, он прочитал в газетах, что американцы располагают ядерным арсеналом, способным трижды стереть человечество с лица земли, и от того до сих пор не может прийти в себя, – предположил Педро.

– ... Или же, – продолжал громко горланить Ла Марн, – это тонкая натура, которая защищает свои чувства, заковавшись в панцирь! Чтобы избежать потрясений, он с головой погрузился в свой внутренний мир. Ушел в себя под ударами Истории! Загубленная чувствительность, атрофированная под напором исторических реалий! Испуганно блеющий буржуа со слезами и багажом, бегущий от действительности! Или же это насмешник: тогда мы видим особенно отвратительный и коварный способ глумления над жизнью, суть которого сводится к демонстрации того, что она с вами сделала. Это огульная и совершенно осознанная насмешка над жизненным опытом, верой в будущее и надеждой на лучшее. Разоблачитель! Безжалостный указующий перст, направленный не на саму жизнь, а на ее отражение в кривом зеркале. Или же это тип, жаждущий любви и томных вздохов под луной. Или... тсс!

Он наклонился к девице и доверительным тоном произнес:

– Социализм с человеческим лицом, мадмуазель. Я бы не удивился, узнав, что он прячет его в глубине души! Или же это ловкий прием.

– Ловкий прием? – озадаченно переспросила девица.

– Ловкий прием, – подмигивая ей, подтвердил Ла Марн.

– Какой прием?

– Который придумал Педро.

– Свинья! – вырвалось у девицы.

– Разбитый череп Троцкого. Отцы Октябрьской революции, расстрелянные Сталиным, как большевики. Гулаг и миллионы его жертв. Трюк Педро.

– Ну хватит, – сказал Педро. – Шел бы ты трепаться в другое место.

– Можно быть коммунистом, не будучи сталинистом, – благо разумно заметила потаскуха.

– Верно, – кивнул Ла Марн. – Что и приводит вас в это состояние. У него спрашивали, откуда он, куда направляется, кто он?

– Он не отвечает, – ответил Педро, – пьян в стельку.

– Идеологическое *rigor mortis**, – подвел черту Ла Марн. – Давайте обыщем его. Может быть, при нем есть адрес родственников.

Джентльмен-до-кончиков-ногтей сидел на табурете подчеркнуто прямо, элегантно выгнув бровь. Этот придурок просто непробиваем, с завистью подумал Рэнье. Ограниченные арками, словно рамками картины, фрагменты карнавального шествия напоминали полотна кисти Джеймса Энсора, и на фоне метели из конфетти и серпантина, гримасничающих масок, затисканных девок и всяких чудищ незнакомец выглядел совершенно естественно. Он равнодушно позволил себя обыскать. У него ничего не найдут, подумал Рэнье. Все хранится в музеях и библиотеках.

– Ничего нет, – объявил Ла Марн, – никаких документов, полное инкогнито. Разумеется, так было задумано заранее. Хочет символизировать человека непобедимого и нерушимого, гуманного человека, которого ничто не может поставить на колени или облить грязью!

– Можете засунуть ваши метафоры себе в одно место, – сказал Педро. – Одурманены все до одного. Буржуазный декаданс. Весь Запад стал «Озером» Ламартина. Сырость и рыдания. Вы превратили все человеческое в болезнь.

*Трупное окоченение (*лат.*).

Джентльмен оставался совершенно безучастным ко всему происходящему даже тогда, когда Ла Марн шарил у него по карманам. Исключительная натура до кончиков ногтей, кстати, полностью обгрызенных, отметил про себя Рэнье.

– Так, так, так! – пропел Ла Марн.

Он держал в руке измятый листок бумаги. Развернув его, он прочитал:

– *Малый словарь великих влюбленных*. Ну и ну... Ну и ну!, – повторил он, с симпатией разглядывая незнакомца. – Свой человек! Он нашел это в еженедельнике для женщин «ELLE». Я подписываюсь на него. Мне всегда хочется чувствовать вокруг себя женское присутствие. *Малый словарь великих влюбленных*. Тут подчеркнуто одно имя, – Ла Марн глянул в листок. – *Хольдерлин, Фредерик (1770-1843)**. «Он жаждал абсолютной любви, большей, чем сама жизнь...»

Ла Марн прервал чтение и обернулся к незнакомцу. Педро, Рэнье и девица тоже с любопытством смотрели на него. Тот, казалось, витал в неведомых заоблачных высях, и трудно было представить себе, какие дали открывались его взору. Его здесь не было. На месте остались только увядшая гвоздика, белые гетры, кремовые перчатки и приподнятая бровь: он ушел, оставив вместо себя свой гардероб.

Сопрано наблюдал за шествием, стоя у окна кафе со сдвинутой на затылок легкой шляпой и с кружкой нива в руке. Странное предчувствие заставило его обернуться, и он увидел барона в окружении незнакомых людей – трех мужчин и девицы, в которой без труда можно было признать проститутку. Один из мужчин выворачивал карманы барона. Это не особенно встревожило бы Сопрано, потому что каждый вечер он делал то же самое и никогда ничего не находил, если бы он постоянно не боялся потерять барона при тех или иных обстоятельствах. Тот мог уйти с кем угодно, а Сопрано, в конце концов, не имел на него никаких прав собственности: это же не предмет и не собака. Предвидеть реакцию барона было невозможно по той простой причине, что он никогда ни на что не реагировал. Любой человек мог легко увести его, а Сопрано уже не представлял, как обходиться без его общества. Поэтому он торопливо направился к маленькой группке, заметив, к своему удивлению, что мужчина, обыскивавший барона, что-то нашел в его карманах. Это так поразило Сопрано, что он даже не сразу вмешался в происходящее.

– Так ты будешь читать или нет? – спросил Рэнье.

– *«Он жаждал абсолютной любви, чистой, глубокой, исключительной, большей, чем сама жизнь... И он нашел ее. Он не расстался с жизнью, но потерял рассудок. Черноволосая Сюзетта, жена банкира, у которого Хольдерлин работал финансовым инспектором, выглядела столь же юной, как и ее дети. Ее карие глаза были полны пыла и нежности. Но банкир узнал об их любви и выгнал Хольдерлин. Сюзетта не пережила разлуки... И сознание Хольдерлина помутилось, в своем безумии он сохранил внешнее спокойствие, но окружающий мир перестал существовать для него. Он превратился в зомби, в окаменевшее дерево, И в таком состоянии прожил еще тридцать семь лет у одного столяра, который приютил его у себя, вероятно, потому, что привык иметь дело с деревом»*.

Ла Марн замолчал и с отвисшей от изумления челюстью уставился на незнакомца. Остальные тоже не сводили с него глаз. Но барон, похоже, не замечал окружающих его людей. С отсутствующим видом, сохраняя идеальную осанку, он продолжал сидеть на своем табурете.

Из-под ленты на его сером котелке выглядывал маленький уголок розовой бумажки. Рэнье протянул руку и вытащил ее. Это был билет двухлетней давности на дерби в Эпсоме.

*Немецкий поэт, автор романа «Гиперион», од и гимнов, в которых романтическое вдохновение возносится до мистицизма.

– Должно быть, он все проиграл на скачках, – пробормотал он.

– *Permesso*, – раздался позади них чей-то хриловатый голос.

Обернувшись, они увидели невысокого человека в приталенном пиджаке с подложенными плечами и в белой шляпе, оттенявшей тонкогубое остроносое лицо с черными глазами.

Сопрано почти вырвал листок из рук Ла Марна.

– *Come, come, barone*, – обратился он к незнакомцу.

Он деликатно взял его под руку и помог соскользнуть с табурета. Барон не сопротивлялся. Он стоял подчеркнуто прямо, по-прежнему выгнув бровь, и внешне выглядел просто безукоризненно. Сопрано поддерживал его.

– Скажите, он уже давно в таком состоянии? – спросил Ла Марн.

– Не могу вам сказать, – с сильным итальянским акцентом ответил Сопрано. – Я с ним всего лишь год. Исключительный человек. *Come, come, barone mio*.

Он подвел его к столику, и барон сел, механически согнув колени. Сопрано обрезал сигару, сунул ему в рот и поднес горящую спичку. Барон курил, как автомат, выпуская дым маленькими клубками, следовавшими один за другим в соответствии с ритмом его дыхания. Рэнье, Ла Марн, Педро и девица следили за ним, не веря своим глазам. «Им должен платить комитет по проведению праздников», – подумал Рэнье. Сопрано улыбнулся ему и поприветствовал всех остальных, слегка привстав и прикоснувшись пальцем к полям шляпы. Снаружи под дождем конфетти шествовали клоуны, пьеро и прочие маски, и громкоговорители, сотрясавшие воздух оперными ариями, вносили свою лепту в то, что и так нельзя было назвать тишиной.

– Черт возьми, – произнес Ла Марн.

– Они издеваются над нами, – сказал Педро.

– Не только над нами. Это заходит слишком далеко.

– Можете засунуть вашу метафизику себе в одно место, – буркнул Педро.

– В конце концов, сегодня же карнавал, – заметила девица.

Под арками солдаты и маски водили хоровод вокруг бедно одетой девушки, скорее всего, продавщицы спичек, подумал Ла Марн, мечтавший о сказочной истории. В конце концов девушка поцеловала солдата, и ее отпустили. При мысли о том, что его никто не целует, на глазах Ла Марна навернулись слезы. Пританцовывая, в кафе вошел немолодой господин зажиточного вида с мешком конфетти в руке. Он окрестил присутствующих полными горстями разноцветных бумажных кружочков, раскланялся, приподнял шляпу и, все так же пританцовывая, удалился. «Шутовство, к которому приводит некоторых людей страх перед классовой борьбой и ядерной катастрофой, просто ужасно», – подумал Ла Марн. Иногда он почти испуганно косился на барона. Возможно, именно в этом крылась разгадка его тайны. Плюс еще восемьсот миллионов китайцев. Раздвинув колени, барон невозмутимо сидел с непроницаемым лицом и сигарой во рту; стрелки его брюк были безупречно отглажены, а туфли начищены до зеркального блеска.

Сопрано развернул клочок бумаги, отнятый у Ла Марна, пробежал его глазами и внимательно осмотрел. На полях он обнаружил несколько коряво нацарапанных слов. С одной стороны он прочитал «права человека», с другой – «человеческое достоинство». Он бросил на барона подозрительный взгляд. Но придаться было не к чему. Денди сохранял абсолютно безразличный и отсутствующий вид, даже выглядел более скованным, чем обычно: щеки надуты больше, чем всегда, голова слегка покачивалась. Казалось, он прилагал невероятные усилия, чтобы сдержать то ли взрыв смеха, то ли пук, то ли некий благородный порыв.

VIII

Под тихий стук ножей и перезвон посуды три музыканта итальянца прекрасно справлялись со своей задачей, заключающейся в том, чтобы воссоздать своим репертуаром, в котором было все: от «Санта Лючии» до «Соле мио» и «На спокойном море», приятную умиротворяющую атмосферу начала века с его зонтиками от солнца, русскими князьями и полной безопасностью. Сидя у окна, Гарантье наблюдал за чайками, суетливо носившимися над гладью моря. Он старался забыть, что это живые существа, и пытался видеть в них лишь белые и серые живые геометрические символы, подобные мобилиям Калдера. Лицо Энн купалось в солнечном свете. Иногда ее охватывал почти панический страх перед возрастом, а насчет того, что называют «искусством старения», у нее были жестокие и вместе с тем наивные представления человека, который еще не чувствует надвигающейся угрозы. Ничто в ее глазах не выглядело более ужасным, чем желание продолжать нравиться, особенно когда оно читалось между морщинами, под слоем пудры, каждая частичка которой с годами, казалось, становилась крупнее. Она предпочитала этому внезапный уход мексиканских индейцев, которые в тридцатилетнем возрасте перестают танцевать и которым запрещается носить маски во время карнавала. Возраст требует, чтобы женщины изменялись сами еще более кардинально, чем изменяет их сам, и в этот момент в расчет принимается только стиль и сдержанность, в противном случае былая свежесть превращается в корку вчерашнего хлеба. Искусный макияж, который Энн видела в Голливуде на лицах женщин, отказывавшихся уходить вовремя, отмечал их ужасной печатью увядания, и они годами носили эту отметину, расточая улыбки, которые были самой мучительной формой попрошайничества. Но представление женщин о старости, думала Энн, зачастую является их представлением о мужчинах, и если последние соглашаются на такое оскорбление, то тем хуже для них. Именно о них говорят накрашенные глаза, нарисованные рты и фальшивые улыбки, замораживающие все вокруг. Чтобы дойти до такой степени унижения в страхе перед возрастом, гамма наших чувств должна быть поистине ограниченной. В двадцать лет Энн казалось, что всем этим ухищрениям она предпочла бы судьбу старой индианки, которую выгнали из дома во двор готовить свою скудную трапезу, но то была, конечно же, спокойная уверенность молодости. Теперь уверенности у нее поубавилось, зато добавилось терпимости. «Я старею, – думала она, – близится старость, неся с собой горький вкус компромисса; в сорок лет я буду стараться внушить себе, что, потеряв свежесть, мое лицо приобрело таинственность, а мое тело, утратив былой блеск, обрело величественную осанку. К сорока восьми годам я даже забуду, что женщины стареют, я буду хихикать и жеманничать, как молоденькая девушка; я открою для себя радость вальса, первого бала, смелого пожатия руки чересчур робкого юноши. В пятьдесят я наконец-то снова заплачу, на этот раз впервые от любви; нанесу, как и в молодости, больше румян на щеки, чем разрешала мама, и снова всем телом задрожу под взглядом юноши. После пятидесяти я стану одной из тех женщин, чье чересчур тонкое белье просто вопиет о своей неуместности. Но больше всего забот мне доставит мой собственный взгляд, придется контролировать и скрывать его, чтобы он не был слишком красноречивым». Энн всегда смущала чрезмерная молодость, сверкавшая во взглядах некоторых дам, отмеченных морщинами, поблекшей кожей, сухостью или одутловатостью черт; взгляд всегда сдается последним, и это естественно: глаза были придуманы любовью. Она улыбнулась отцу, который наблюдал за ней – и Вилли почувствовал себя лишним. Он поднялся и положил руку на плечо Энн.

– Мы пропустим шествие, – сказал он. – Вы идете, Гарантье?

– Да, да.

«Она мечтает о любви, – подумал Гарантье, – или просто мечтает, что, впрочем, одно и то же. Неприлично, чтобы в наше время знаменитая и независимая молодая женщина мечтала о любви так же, как наши бабушки, забывая о сегодняшнем дне. Наши бабушки мечтали в условиях социального неравенства, и тогда любовь была их единственным способом самовыражения, но теперь...» Неожиданно он отчетливо представил себя в чепце и кринолине викторианской эпохи, вздыхающим у окна при свете луны. Он поморщился. Юмор – это отказ от борьбы, способ скрыть свое истинное лицо, юмор делает мир более сносным и таким образом незаметно сотрудничает с ним. В сущности, то невероятное, безумное значение, которое придают любви западные племена, свидетельствует о паническом отступлении в глубокий тыл общества, осажденного со всех сторон и не способного стать на путь перемен... Гарантье встал, допил коньяк – как ценитель, смакуя каждую каплю – и устремил взгляд в окно, на море, которое катило свои волны подобно толпе, несущей впереди белый флаг паруса. С чувством собственного достоинства он отвернулся от окна. «Я принадлежу к касте людей, для которых вид окружающей природы является вечным упреком». Чувства, испытываемые им при виде моря и неба, вызывали у него состояние болезненного беспокойства, анализировать которое он не пытался, опасаясь обнаружить в нем, прежде всего, ощущение пустоты, заполнявшей горизонт; он старался признать в нем лишь знак сумеречной и тонкой души, всегда тайно влюбленной в красоту драмы и абсолютно безразличной к ее причинам и следствиям, нечто вроде лебединой песни мещанского сердца.

Он рассеянно следил за крейсером – вот он скрылся за мысом. На глади моря остался только белый парусник: избитый символ одиночества – или надежды... «Наверное, мне уже давно следовало бы завести щенка».

– Да, да. Я к вашим услугам.

IX

Они вышли из «Негреско» и окунулись в зыбкий полумрак зимнего дня, когда все постепенно растворяется в наступающих сумерках. «Наконец-то пришло время сдержанности, – думал Гарантье, – время, когда полутона и изысканность торжествуют над непристойностью реального мира, время цивилизации». Мир становился более привлекательным по мере смягчения его контуров. Взгляд стремился удержать то, что неудержимо ускользало от него, и это порождало приятное чувство ностальгии; появилась возможность общаться с пейзажем на равных, ласкать взором гряды холмов, зубчатый контур которой талантливо подчеркивал горизонт, и даже испытывать некое сладострастие от ощущения призрачной угрозы, зарождавшейся в волнах наслаждения. В бухте Анже мотыльком порхал парусник. «Должно быть, принадлежит какому-то английскому сатрапу», – решил Гарантье и отвернулся: необъятность моря и неба безжалостно отвергала даже самую глубокую печаль. Спустя двадцать пять лет он с трудом вспоминал облик жены, и это приводило его в отчаяние. От его любви осталось лишь размеренное биение сердца, способное означать что угодно и прежде всего сам факт существования. Но он оставался верен себе. Он защищал свою честь и не собирался прощать обиду.

Энн шла впереди одна. Следом, держа в руках ее пальто, шагал Вилли. Он впитывал разлитый в воздухе аромат духов Энн и тем самым тайно жил дыханием ее тела. Как надоедливая муха, он постоянно вился вокруг нее, урывая крохи близости, довольствуясь самым малым. Едва ощутимый, слегка обозначенный, аромат духов напоминает многообещающий шепот тела, но когда он чересчур силен, то говорит только о самом себе, сообщает лишь свое имя. Вилли положил в рот пастилку от астмы и принялся сосать ее, при этом его губы сложились трубочкой, вполне сочетавшейся с его ставшим знаменитым выражением лица: это я – собственной персоной, думал он, встречая взгляды узнававших его зевак. На протяжении вот уже нескольких минут Вилли донимал зуд на груди, к тому же он снова начал задыхаться. «Вероятно, это из-за духов. А может, виновата ткань пальто. Вряд ли что-то другое: она никого не встретит в этой толпе».

Через сад Альбера I они направлялись к аркадам площади Массена. Музыка, льющаяся из громкоговорителей, становилась все громче; празднующая публика стояла к ним спиной, толпясь у ограждений. Энн медленно шла под лохматыми, беспорядочно несущимися облаками – красноречивым знаменем небес; у нее не было никакого предчувствия, и позже она будет вспоминать тот момент, когда еще не знала, что он здесь и что они запросто могли разминуться. На первый взгляд она казалась ледышкой, от которой веяло холодом, так охотно приписываемым женщинам, проявляющим интерес только к солнцу. Она уже давно знала, что он где-то рядом, где-то ждет и зовет ее – вот только не знала, где именно: в Сан-Франциско или в Рио, в парижском бистро или на перуанском пляже, а все считали, что она просто обожает путешествовать, и любит, внезапно срываясь с места, колесить по странам и континентам.

В это самое время Рэнье даже не смотрел на дверь. Облокотившись на барную стойку и опустив голову, он рассеянно улыбался, прислушиваясь к голосу поселившегося в нем шута, старого неугомонного сообщника, который рвался наружу, проявляя при этом недюжинное остроумие.

- Что случилось, патрон? – обеспокоенно спросил Ла Марн. – Вы совсем побледнели.
- Ничего. Все в порядке.
- А-а. ну тогда ладно. . .

Вступив под аркады площади, они попали в облака пыли, поднимаемой с тротуара сотнями ног, а затем в невероятную толкотню, круговерть конфетти, оглушительное мяуканье бумажных рожков и буйство запахов. Энн почувствовала на своих плечах руки Вилли.

- Достаточно, я сыт по горло толпой. Зайдем сюда.

Он развернул ее к бару, защищая от масок, которые хотели вовлечь Энн в свой хоровод, открыл дверь и мягко втолкнул жену внутрь заведения.

Она сделала несколько шагов вперед и первым делом увидела запроваженный в карман пустой рукав его пиджака и взгляд, устремленный ей прямо в глаза.

Ее сердце сначала замерло, потом бешено заколотилось, и Энн на какое-то мгновение подумала, что виной тому толкотня и раздражение, вызванное прикованным к ней взглядом, однако ей почему-то никак не удавалось разорвать установившийся между ней и незнакомцем визуальный контакт.

Позже она часто задавалась вопросом, откуда тогда взялись у нее силы вести себя так спокойно и уверенно, как, ни секунды не колеблясь, удалось понять, что человек, сосредоточенно смотревший на нее, вовсе не был завсегдатаем бара. Но ей, как женщине, было бы одновременно легко и трудно согласиться о ответом, что это ничего бы не изменило. Будь он даже самым обыкновенным авантюристом, у нее не было выбора. Собственно говоря, выбора вообще не бывает. Можно сожалеть о всей прожитой жизни, но разочароваться в любви невозможно. Единственное, о чем она впоследствии думала с бесконечной горечью, так это о том, что ей все-таки повезло.

Они словно застыли и, не обращая внимания на толчею, читали в глазах друг друга призыв о помощи, который стал для них первым откровением, а потом Энн улыбнулась ему.

На них никто не обращал внимания. Ряженые с картонными носами, накладными бородами, в масках и клоунских остроконечных колпаках, приплясывая и вопя, набивались в кафе, но они слышали только тишину, ту тишину, которая принадлежала лишь им двоим, тишину, наполненную таким мощным внутренним звучанием, что оно заглушало даже какофонию карнавала, а гримасничающие маски и толчея еще больше усиливали возникшее между ними чувство близости, одиночества и зарождающейся уверенности в том, что они наконец-то нашли другой мир, иную планету, где было место только для них одних.

И Вилли, который столько лет жил в постоянном страхе перед этим мгновением, ничего не замечал, ни о чем не догадывался и продолжал шутить с Гарантье, стряхивая с пальто разноцветные конфетти.

Потом он обернулся к Энн, и ему сразу все стало ясно. Его губы задрожали, а на лице появилось выражение детского испуга.

Ла Марн застыл, словно мраморное изваяние, со стаканом, поднесенным ко рту; он старался не шевелиться, даже не дышать. «Только бы Это случилось, – молил он Бога, – только бы Это наконец-то случилось, пусть даже с кем-то другим, мне бы и этого было довольно, только бы Это случилось с кем-нибудь».

Рэнье улыбался с несвойственным ему чувством робости и страха, подыскивая подходящие слова, чтобы заговорить с ней, и вдруг в голову ему пришли мысли о всех проигранных сражениях и о том деле, которое он тщетно отстаивал под всеми небесами утопии, и которое, как он теперь чувствовал, в конце концов увенчалось победой.

«Голубка моя – как же подходит тебе это слово! – ничто так не манит, как вкус твоих губ, и, если жить вдали от них, такая жизнь покажется ссылкой».

X

«Черт, черт, черт! Если они заговорят, то на том все и кончится, – лихорадочно думал Вилли, – такие мгновения не терпят слов, как только начинается разговор, все тут же становится на свои места, и люди снова превращаются в незнакомцев».

Вилли сел за столик, оставив их одних: он был готов на все, что угодно, но роль третьего лишнего его не устраивала. Он почувствовал удушье и проглотил сразу целую горсть пастилок с фенерганом. Он отказывался верить в происходящее и, по-прежнему улыбаясь, наблюдал за главными героями спектакля с любопытством и в то же время насмешливым безразличием человека, заранее знающего, чем все закончится. Наверное, так выглядит зритель, уже заплативший за свое право присутствовать при падении Икара.

– А я уже перестал вас ждать, – сказал Рэнье.

Она рассмеялась, и Вилли, видя ее смеющейся, почувствовал облегчение: дело было не столь серьезным, как могло показаться на первый взгляд. Может, они даже не переспят. Но если что, он мог бы найти им маленький неприметный отель, ведь, в конце концов, речь шла о его чести. В Ницце не должно быть проблем с поиском дома для тайных встреч, где можно снять номер на пару часов или на целый день.

Гарантье чувствовал, как увлажняются его руки, и это наполняло его отвращением, причиной которого был вовсе не пот, а эмоции. Он напустил на себя самый отстраненный вид, на который только был способен. Это был верх плохого вкуса: Энн как вкопанная застыла перед незнакомцем, и чувствовалось, хотя этого еще не было видно, что они уже держатся за руки. Ну и дела! Вульгарность этой сцены усугубляла бедная продавщица цветов в ниццкой шляпке и со скромным букетиком в протянутой руке. . . Ну и дела!

Теперь они оживленно разговаривали, и Вилли бросал на Гарантье один растерянный взгляд за другим. Воротник его пальто был поднят, завитки волос прилипли ко лбу. Он подавленно сидел за столом, однако пытался улыбаться и выглядеть истинным Вилли Боше: люди смотрели на него с нескрываемым любопытством, и единственное, что ему оставалось, так это убедить их в том, что Энн встретила друга детства.

Сопрано внимательно наблюдал за встречами. Он соблюдал условия контракта и, словно тень, повсюду следовал за Энн на протяжении последних двух месяцев. Но за сутки до отъезда клиента он подумал, что его работа закончена, и решил ненадолго окунуться в атмосферу карнавала. И вот результат. Но ему повезло. Ему всегда везло. Он всегда оказывался в нужном месте в нужное время. Удача была последней из потаскух, а он – ее вечным любимчиком.

Барон, казалось, тоже заинтересовался парочкой, но это, несомненно, было не более чем совпадением: он по-прежнему оставался недвижим, только всем корпусом развернулся в сторону Энн и Рэнье. Его котелок был густо обсыпан конфетти, а шею и плечи украшали длинные ленты серпантина.

Рэнье взял букетик фиалок и протянул его Энн – банальность этого жеста вызвала непровольную ухмылку Вилли. В кафе ввалилась новая толпа масок и в вихре конфетти затеяла хоровод вокруг пары.

– Да здравствуют влюбленные!

Сопрано встал, допил свое пиво и поставил стакан на стол.

– Пойдемте, *barone mio*. Мы подождем их на улице. Всякое может случиться. И мой девиз остается неизменным: верность работодателю!

Внезапно его молчаливый компаньон согласно кивнул, что повергло Сопрано в неопишное изумление, но это, скорее, был спазм алкоголика или икота – барон, этакий денди до кончиков ногтей, оставался абсолютно безучастным ко всему происходящему. Впрочем, слово «работодатель» было не совсем уместно, когда речь шла о любви. Тут следовало бы употребить слово «хозяин». Когда-то давно, в Венеции, барон с удовольствием смотрел спектакль «Арлекин – слугитель любви». Сопрано взял его под руку и, почтительно поддерживая, повел к выходу. При этом он жестом останавливал молодежь, пытавшуюся сыпануть в лицо барону пригоршни конфетти, добродушно приговаривая слегка хрипловатым и прерывистым голосом:

– Осторожно. . . Он очень слаб. . . Очень слаб!

Наконец ему удалось вывести барона на улицу без какого бы то ни было ущерба, если не считать следов гипсовой пыли на лице.

Вилли крутил головой во все стороны, чтобы в толпе не потерять Энн из вида. Он ослабил узел галстука и расстегнул ворот рубашки. Такого жуткого приступа астмы у него не было уже несколько лет.

– Пойдемте со мной, – предложил Рэнье.

Энн заколебалась и бросила на него почти умоляющий взгляд: они оба почувствовали, что так просто это не делается, что нужен какой-то разумный повод, благовидный предлог. Они все еще находились в плену архаичных условностей мира, враждебного к тем, кто пытается ускользнуть от него, и Рэнье постарался соблюсти приличия, моментально отреагировав на настроение Энн:

– Я знаю одно местечко, где нет толчеи и откуда прекрасно видно все дефиле. . .

– Я не одна, – ответила она и, чтобы не разочаровать ею, тут же добавила, – со мной отец. . .

– Который из двух ваш отец? Надеюсь, оба?

– Оба, – быстро ответила Энн и, внезапно отвернувшись, отчего ее пышные волосы в беспорядке рассыпались по плечам, направилась к Вилли, сидевшему в другом конце зала.

Подходя к его столику, она все еще улыбалась, и Вилли получил улыбку, предназначенную вовсе не ему.

– Не ждите меня, – сказала Энн. – Я сама доберусь до отеля.

Вилли встал и поцеловал ее руки. Он сделал это по-отечески, не склоняясь, просто поднеся их к губам.

– Какой взгляд, дорогая! Я счастлив, что он снова вернулся к вам. Вы так расстроили вашего отца, что ему пришлось погрузиться в созерцание картинки на настенном календаре, кажется, это «Анжелюс» Милле. Для тех, кто знаком со взглядами господина Гарантье на искусство, совершенно очевидно, что толкнуть его на эту крайность могла картина куда более оскорбительная в своей пошлости, нежели «Анжелюс». . . И, наконец, два момента. Во-первых, будьте осторожны в выборе отеля. Подумайте о моей репутации. В Ницце есть добрая дюжина журналистов, которые только того и ждут. . . Во-вторых, к которому часу вам приготовить утром ванну?

Она поцеловала его, точнее, мимолетно прикоснулась губами к его щеке, а когда он открыл глаза, ее уже не было рядом. Вилли увидел, как она выходит из кафе под руку с незнакомцем, чье лицо он постарался запомнить как можно лучше. Он насмешливо помахал ей вслед рукой, но Энн этого не увидела: он для нее уже не существовал. Вилли испытывал такое чувство, будто его с корнями вырвали из земли и отшвырнули в сторону, но жить можно было и так, ведь жизнеспособность человека практически безгранична. Он боролся с астмой, которая клещами взяла его за горло, и чувствовал, как ягодицы начинают зудеть от экземы, – болячкам было совершенно наплевать на его переживания, – так его тело насмешливо на-

поминало о своем бренном существовании. В лицо ему бросали пригоршни конфетти, у него просили автографы, напевая музыкальную тему из его последнего фильма, который самому Вилли ужасно не нравился. Он с трудом пробрался к Гарантье и сел рядом с ним, пытаясь не задохнуться и сохранить на лице улыбку. Под прикрытием пальто он яростно расчесывал зудящий зад.

– Скажите-ка, старина, у вас случайно не найдется трубы? Помните про Иерихон?.. Трубя в нее, вы могли бы семь раз обойти вокруг Вилли. Может, тогда и рухнули бы стены. Раз – и нет больше тела, нет астмы, нет крапивницы, а вдобавок и небожителей. Улавливаете?

– Все французские календари похожи один на другой, – сказал Гарантье. – На этом изображена картина Милле «Анжелюс».

– Он опоздает на пароход в Корею, – заметил Педро. – Теперь это как пить дать.

– А я счастлив, – сказал Ла Марн. – Не очень-то приятно жить за чужой счет, в конце концов это просто надоедает. Я счастлив не за него, а за себя. Счастье по доверенности. Думаю, что именно в этом кроется смысл братства,

XI

Они уже полчаса стояли на автовокзале, и кондуктор никак не мог дать сигнал к отправлению – проблему, похоже, создавала очаровательная дама.

– Мы пропустим и этот автобус, – сказал Рэнье. – Это будет уже третий.

– Ну что ж, пропустим. Сядем на следующий, вот и все.

Пытаясь понять, кто же он на самом деле, она с мольбой смотрела на него, уже уверенная в своей ошибке, но изо всех сил прижимаясь к нему, чтобы набраться смелости или по меньшей мере обрести иллюзию того, что знает его, разрываясь между желанием убежать и готовностью пойти до конца, что было единственно возможным способом оправдать свое присутствие здесь, в объятиях незнакомого человека.

– Мне не следовало бы здесь находиться.

– Вы правы. Я до сих пор не могу в это поверить. Должно быть, что-то разладилось в Солнечной системе. Заходите в автобус.

Их окружали участники карнавала, все еще наряженные в маскарадные костюмы, представленные организаторами праздника: ярко размалеванные клоуны, римские императоры и арлекины, одни держали маски в руках, другие сдвинули их на лоб. Кондуктор дружелюбно улыбался, чувствовалось, что он не прочь дать Рэнье кое-какие советы, ибо тот вовсе не походил на человека, который знает, что делать в подобной ситуации. И вдруг прелестная дама вошла в автобус – кондуктор удовлетворенно улыбнулся и подмигнул Рэнье.

Следом за ними вошли двое мужчин, один из которых, хотя и выглядел мертвецки пьяным, все же сохранял остатки благородства и даже величия. В глубине салона было свободное место, и Сопрано усадил на него своего компаньона, предварительно смахнув с сиденья пыль и следы побелки своим носовым платком. Окружающие предметы никогда не были достаточно чистыми для барона, во всяком случае не настолько, насколько ему бы того хотелось. Краем глаза Сопрано наблюдал за интересующей его парой. Они стояли у кабины водителя и целовались. Остановки следовали одна за другой – Вилльфранш, Больё, Ла Тюрби, Эз, а они все целовались и целовались, и Сопрано начал даже подумывать, не продешевил ли он, соглашаясь на эту работу. Чем больше он наблюдал за ними, тем больше убеждался, что тут дело серьезное, именно то, чего так опасался его работодатель, обращаясь за помощью к Белчу. Сопрано достал из кармана зубочистку и задумчиво сунул ее в рот. Хорошенькое дельце: кинозвезда бросает мужа и сбегает с первым попавшимся мужчиной. Конечно, она надела темные очки и повязала платок, но если кто-либо ее узнает, разразится нешуточный скандал. Решение проблемы обойдется клиенту еще в три тысячи долларов премиальных. Сопрано даже почувствовал раздражение при мысли, что мистер Боше, вероятно, принял его за дурака, что отнюдь не соответствовало действительности. Он не шевельнет и пальцем, пока не получит всех необходимых гарантий. Это будет стоить три тысячи долларов. Барону, конечно же, не понравится эта работа. Можно не сомневаться, что ему будет очень неприятно, если дело зайдет чересчур далеко и влюбленных придется разлучить. Барон был приличным человеком, со своими устоявшимися взглядами и манерами. Сопрано был даже уверен, что барон запросил бы меньшую сумму за устранение обоих влюбленных, лишь бы не разлучать их.

Они стояли в передней части салона автобуса между дремлющим пиратом и Наполеоном, тихонько наигрывавшим на губной гармошке. Энн держалась за пустой рукав, который странным образом успокаивал ее, хотя она не понимала, почему физическое увечье придает ей

уверенность в себе и служит поводом к тому, чтобы идти, вероятно, до самого конца. У всех мужчин, окружающих их, были обе руки, и тем не менее казалось, что им чего-то не хватает. Они вышли в Рокбрюне и пошли в сторону деревни, вдыхая аромат цветущей мимозы, который с каждым шагом становился все более насыщенным и ощутимым. Рэнье был рад, что они приехали ночью: он рассчитывал показать ей всю деревню утром, распахнув шторы.

- Завтра вы увидите, как здесь красиво.
- Я знаю. Я уже приезжала сюда сниматься для журнала мод. . .
- Понятно.
- Вы разочарованы?
- Отчасти. Этот подарок – единственный, который был мне по карману.

Он сообщил ей, что через десять дней уезжает в Корею: человечество, к счастью, – это то, что у нас остается, когда не остается уже никого; а раньше была война в Испании, битва за Англию, участие в Соппротивлении, стоившее ему руки, и эта проклятая фраза Горького о том, что «грустные клоуны играют в братство и всеобщую любовь на кровавой арене буржуазного цирка», он уже точно не помнил цитату, но смысл ее был приблизительно таков. Человек всегда подставляет себя под пули из-за приблизительности.

Рэнье ускорил шаг, чтобы скорее прийти домой, закрыться в четырех стенах, забыть наконец о погоне за мечтой, стать на колени и, как купола собора радости, вознести до небес крик счастливой женщины.

- Вот мы и пришли.

Они стояли перед башней, оба крыла которой, построенные в характерном итальянском стиле среди мимоз, своей легкостью напоминали драпировку, взметнувшуюся от быстрого па танцующей пары. Пока Рэнье искал ключ, Энн страстно желала, чтобы в доме царило приглушенное освещение и не было верхнего света. Потом они сели на кровать, и Рэнье в поисках выключателя ночной лампы неловко шарил по прикроватной тумбочке, одну за другой опрокидывая стоявшие на ней безделушки. Некоторое время они сидели, неловко прижавшись друг к другу и не решаясь отстраниться, боясь, что это будет похоже на расставание. Они поцеловались, но только для того, чтобы не смотреть друг на друга и скрыть свое смущение. Они отдалялись друг от друга со скоростью свободного падения, и в течение нескольких секунд их объединяло лишь желание, тогда как любовь у своих истоков, скорее, напоминает слившиеся в одно русло любовные грезы. «Если я ошиблась и на этот раз, – думала Энн, чувствуя на своей груди чужую руку, – то это будет так ужасно, что ночь, проведенная с тобой, не будет иметь ровно никакого значения». Рэнье услышал ее долгий глубокий вздох, и ему показалось, будто что-то стремится покинуть пределы комнаты и унести в звездное ночное небо. По движениям Энн он понял, что она расстегивает блузку, и прижал ее к себе в попытке удержать это ускользавшее от них нечто. Теперь он думал только о ее дыхании, которое постепенно превращалось в стон, и о том, чтобы тот, окрепнув, криком взметнулся до небес. Он думал лишь о том, как выпестовать его, и наконец это свершилось – голос Энн вознесся над всей земной суетой, над тем, что принято считать поражением и несчастьем: так плачут от горя маленькие девочки и выплескивают свое счастье зрелые женщины.

Когда Рэнье поднял голову и посмотрел в лицо Энн, то по подрагиванию ее полуприкрытых век и неуловимой улыбке, играющей на губах, понял, что ему больше нечего опасаться.

- Боже мой, вы оставили открытым окно!

– Там никого нет. Это сад. А если кто-нибудь вас и услышал, то ему пришлось напрячь слух, подняв глаза к небу, как это обычно делают, пытаясь определить, какая будет завтра погода.

Не было больше проигранных битв, и от этого возникало впечатление, будто закончилось

вечное блуждание в темноте. Точно так, лишь закрыв глаза, ты осознаешь смысл и значение света! В его ушах до сих пор звучал ее умолкнувший голос, а вместе с ним и звуки рога в глубине леса, переставшие на какое-то время напоминать о человеческих бедах. . .

– Я думала, вы уезжаете через десять дней, – тихо сказала Энн.

Он наклонился и поцеловал ее в лоб.

– Извините меня.

– Когда же вы уезжаете на самом деле?

– Пароход уходит из Марселя 7 марта.

Рэнье встал и шагнул к столу, на котором стоял глиняный кувшин с вином. Он поднес его ко рту и стал пить, запрокинув голову и не видя, что Энн смотрит на рукав его рубашки. Пустой. Можно было не сомневаться, что о потерянной руке он сожалеет больше, чем об оставшейся.

– Сначала вы воевали против Франко, потом против Гитлера, а теперь собираетесь воевать против Сталина. . . Не многовато ли для одного человека?

– Нет, я ищу самого себя. Мне никогда не удавалось подойти к кассовому окошку жизни и сказать: я хотел бы открыть личный счет. Но на этот раз. . .

Он вернулся к Энн и опустился подле нее на колени: как бы ты ни строил свои соборы, крик любимой женщины всегда вознесет мужскую благодарность и почитание выше сводов любых храмов.

– Я хотел бы вечно жить в зените твоего голоса, как те шарики, которые танцуют на самой вершине водяной струи и никогда не падают вниз. Почему ты смеешься?

– Потому что это довольно странный способ строить лучший мир, – ответила она.

XII

Вот уже сутки, как Вилли тешил себя надеждой, что речь идет о простой постельной истории. Накинув пурпурный халат, он бродил с бокалом шампанского в руке по своему сверкающему позолотой салону в отеле «Негреско», с головой погрузившись в избранный им образ и стараясь ни на йоту не отклоняться от соответствующей манеры поведения. Он разыгрывал перед Гарантье роль человека с уязвленным самолюбием, более всего на свете озабоченного последствиями удара, нанесенного по его репутации Пигмалиона, «того, кто создал Энн Гарантье подобно тому, как когда-то Джозеф фон Стернберг создал Марлен Дитрих»; дельца, напуганного призраком коммерческого краха, который неминуемо разразится, если дело получит огласку. В такой ситуации единственным подходящим средством отогнать страх и защитить свои чувства, которые не принято выставлять напоказ, были цинизм и забавная непринужденность.

– Мой дорогой Гарантье, мне важно знать, как долго еще продлится эта затянувшаяся шутка. Энн уже провела одну ночь со своим дружкой, и ей следовало бы поинтересоваться обстановкой, так ведь нет, от нее ни слуху ни духу. А в понедельник, между прочим, начнутся съемки. . . Вы – ее отец, я – ее муж и считаю, что когда она уходит с любовником, то должна поставить нас об этом в известность. Я не очень подкован в плане морали, но уж это, по крайней мере, знаю точно.

Гарантье смотрел в окно, в сторону моря. На бульваре праздничная толпа наблюдала за проходящим карнавальным кортежем, который должен был перестроиться на площади Гримальди.

– Ради меня не стоит блистать красноречием, Вилли. Это ни к чему.

Вилли сделал вид, что рассердился.

– Я блистаю ради самого себя, если вы не возражаете. В конце концов, зубы чистят вовсе не для окружающих.

И он с наигранным раздражением, рассчитанным на то, чтобы его нельзя было не заметить, раздавил в пепельнице сигарету.

– Вы представитель старой драматической школы, Вилли. Той, которая придает большое значение языку жестов. Я бы даже сказал – общества, которое ставит жестикуляцию на первое место.

– Тунеядство, даже выдающееся, знаете ли, никогда не было на острие прогресса.

– Спасибо. Есть только один способ быть полезным тем, кто придет вам на смену – помочь им сменить вас. Я делаю то, что могу.

Вилли повернулся к нему, тяжело оперся на стол, и его сутуловатая спина – довольно сильное искривление позвоночника он пытался выдать за массивность фигуры – согнулась еще больше, словно он готовился к прыжку.

– *Listen, pop*, – сказал он. – Между двумя сводниками паясничание неуместно, но я думал, что вы предпочитаете учтивость искренности. Вы обходитесь Энн в копеечку, не столько сколько я, но тем не менее вполне прилично: для заурядного преподавателя литературы вы живете совсем неплохо. Вы любите хорошо одеваться, путешествовать, изысканно украшать вашу квартиру и при этом ничего не делать с утра до вечера, ожидая, когда придет революция и освободит вас даже от этого занятия. Вот сейчас перед вами стоит бутылка вашего любимого виски, которая не будет фигурировать в вашем счете, поскольку никто никогда не видел

счета на ваше имя с тех пор, как вы выдали за меня дочь. Так вот, вы знаете, во что нам может обойтись эта миленькая история? У нас не будет ни гроша – ни у Энн, ни у меня, а следовательно, и у вас тоже. Я нахожу для Энн роли, но представьте себе, что она все потеряла. Чувствуете, чем это пахнет? Я старался, как мог, и для вас это не секрет. Я хотел остаться с ней. Мне нравится заниматься с ней любовью. Когда-нибудь я покажу вам во всех деталях, как мы это с ней делаем. Но сейчас не до того. Был только один способ удержать ее – заточить в голливудскую золотую клетку. Если она вырвется из нее – все пропало. Она оставалась в ней, потому что не умела делать ничего другого; потому что только любовь могла помочь ей обрести свободу, и она ждала ее. . .

Гарантье поставил свой стакан.

– Если вы еще не в курсе, – заметил он, – то должен вам сообщить, что ходят упорные слухи, будто она не уходила только из жалости к вам. . .

Вилли продолжал, пропустив выпад тестя мимо ушей:

– . . . потому что Голливуд был пропитан атмосферой умиротворяющей пошлости и проявлял снисходительность к этой девушке, которая постоянно была настороже, свернувшись в глубине души в тугой комок, но еще, возможно, и потому, что вы почувствовали вкус к роскошной жизни, а она любит вас – невероятно, но это факт!

– Я не почувствовал вкуса к роскоши, – возразил Гарантье, – он был у меня всегда. Я мог бы сказать, что испытываю отвращение к самому себе, но это не так, этого недостаточно, я испытываю отвращение даже к воздуху, которым дышу, к среде, в которой живу, к обществу, которое породило меня и терпит мое существование. Я совершенно точно знаю, что поставить ему в вину.

– Знаю, знаю. Знаю и то, что все это неправда, что вы ненавидите роскошь, но стараетесь воссоздать у себя дома атмосферу социальною и морального декаданса независимо от того, существует он или нет, но который вы изо всех сил пытаетесь воплотить в жизнь. А все потому, что жизнь прошла мимо вас, потому что от вас ушла жена и потому что вы любили ее. И даже если не любили: это часть ваших оправданий. Так уж заведено: придя к финишу последним, сетовать на то, что вам на старте поставили подножку. Но это ваше дело. Это тоже образ жизни. Так что продолжайте в том же духе, друг мой, но, что касается суровой реальности, – той, которая всегда готова сыграть с нами злую шутку, – прошу заметить следующее: завтра я получу первые телеграммы от владельцев киностудии. Я мог бы сообщить, что Энн заболела, но это опасно: не пройдет и двух суток, как сюда явится дюжина репортеров. Если ей захотелось потрахаться, все обойдется. Но если интрижка затянется, на карьере Энн можно будет поставить жирный крест, как и на вашей тоже, старина. Речь идет, ни много ни мало, о миллионе долларов в год на троих.

– Как же вы ее любите! – воскликнул Гарантье. – Узнаю в ваших словах всю вульгарность любви. Вы любите ее, мой бедный Вилли, а вот она вас – нет. Кстати, именно в этом кроется сущность большой любви – в ее безответности. Когда любовь взаимна, она разделена пополам и ничего не весит. Люди, которые любят друг друга, ничего не знают о любви.

– Избавьте меня от ваших излияний, старина, – поморщился Вилли.

Гарантье улыбнулся. В приглушенном свете приморского вечера, просачивающегося через окно, – небо, чайки, море, – он со своей японской челкой и седоватыми усами а ля Поль Валери казался воплощением серой изысканности, и в пастельных тонах угасающего дня выглядел как еще один тусклый мазок кисти.

– Когда я думаю, что они таскаются по улицам и отелям, и, не дай бог, попадутся на глаза какому-нибудь фотографу. . . Им надо было взять меня с собой, я бы обеспечил прикрытия.

– Кровоточит рана, а, Вилли?

– Пошли бы вы к черту. Мне в общем-то безразлично, спит она с кем-нибудь или нет. Более того, это полезно для ее ремесла. Но если бы я был с ними, то покой, во всяком случае, был бы им гарантирован. Им бы не пришлось прятаться. . . Все-таки я надеюсь, что они прячутся! Но было бы так естественно попросить меня пойти с ними, даже с точки зрения морали! В конце концов, ее еще никто не отменил!

Он был уже изрядно пьян, когда зазвонил телефон. Консьерж доложил, что некто хотел бы видеть господина Боше по поводу мадмуазель Гарантье. «Сопрано», – с облегчением подумал Вилли. Мысли о нем не покидали его ни на минуту и постепенно обрели суеверный оттенок. В глазах Вилли, который не знал, как выглядит, где живет и существует ли вообще этот человек, он выглядел грозной сверхъестественной силой, основным предназначением которой была забота о бедном маленьком Вилли.

– Впустите его.

Глядя в окно, Гарантье наблюдал за полетом чаек.

– Эти чайки производят впечатление, – сказал он. – С утра до вечера они вьются над пляжем, причем над одним и тем же местом. Должно быть, там отверстие водостока.

Коридорный в фиолетовой униформе открыл дверь, и первое, что увидел Вилли, была шляпа, почтительно прижатая к сердцу. Ее владелец переступил порог номера с таким видом, будто входил в кафедральный собор. Он был маленького росточка, а его смуглое одутловатое лицо, испещренное морщинами и пожелтевшее от времени, хранило следы бывшего изящества. В целом человек напоминал евнуха в европейском костюме, выброшенного революцией за пределы родного гарема.

– Что это за манера врываться сюда? – недовольно проворчал Вилли. – И кто вы такой, черт возьми?

Ла Марн согнулся в поклоне, испуганно втянув голову в плечи.

– Силуэт, просто силуэт, очертание человека, – с готовностью залепетал он. – Набросок, сделанный торопливой рукой и ни на что не претендующий. . .

Он с такой силой прижимал шляпу к груди, что сплющил ее в лепешку.

– До сего момента жизнь никогда не давала мне шансов, никогда не удостаивала возможности воспользоваться ситуацией. . . Всегда на обочине, все время статист, бессловесный наблюдатель, вынужденный играть второстепенные роли. . . довольствоваться жизнью других, жить по доверенности, через замочную скважину. . . Девственник, если месье позволит мне уточнить. . . Девственник и в придачу эксперт-бухгалтер. . . Видящий все со стороны, но ни на что не способный повлиять. . . И вот впервые, в силу благоприятного стечения обстоятельств. . . Я был в баре, когда мадмуазель Гарантье. . .

Он прижал палец к губам:

– Ш-ш, ни слова больше! Конечно, это такая находка для прессы. . . Но я умею держать язык за зубами!

Вилли не смог сдержать улыбку. Он почти не сопротивлялся наезду этого шута, который вылез невесть из какого дерьма и бесцеремонно вмешался в его личную жизнь. Гарантье устало пожал плечами.

– Сколько? – с симпатией спросил Вилли.

– Это не то, что вы думаете, – взволнованно произнес тип, при этом в паузах на его губах поигрывала угодливая улыбка. – Больше всего я хочу участвовать. . . Мне нужна дружба, привязанность. . . Если бы месье согласился взять меня на службу. . . Восхищение, которое я испытываю к месье и мадам. . . Если бы только месье мог взять меня с собой в Голливуд. . . Для такой ничтожной и бесцветной личности, как я, всегда жившей идеалами и не способной жить

без веры. . . Месье меня поймет! Представитель старинного дворянского рода, ветеран интернациональных бригад, ветеран левого движения, попрошайка со стажем, бывший гуманист, бывший член «Жокей клуба». . .

Впервые за все время Гарантье проявил интерес к разговору. С чаек, носившихся над отверстием водостока, он перевел взгляд на тех, которые вились в воздухе прямо за окнами отеля. Для незнакомца это не осталось незамеченным.

– Я вижу, что месье меня понимает, – пробормотал он. – Несомненно, у вас такой же жизненный опыт?.. Между нами, аристократами-изгнанниками. . . Месье извинит меня за то, что я говорю с ним от третьего лица, но, как я уже у поминал, я принадлежу к старинному дворянскому роду – хоть и разорившемуся – и испытываю определенную ностальгию по хорошим манерам. . . Третье лицо – это единственное, что осталось у меня от бывшего величия. Но что вы хотите – с фашизмом, Мюнхеном, советско-германским пактом, Виши, лагерями смерти, атомной бомбой и целью, которая оправдывает средства, наш знатный род потерял почти все. . . Тем не менее я сохранил привычку говорить о себе в третьем лице, и это позволяет мне думать, что я еще что-то собой представляю. Месье позволит мне. . .

Ла Марн стал торопливо рыться в бумажнике: там было полно визиток, но его душа жаждала импровизации.

– У меня закончились визитки, – с сожалением произнес он. – Я – граф Беддерн. Это древний дворянский род, который всегда был на острие прогресса. Но это другая история, ха-ха-ха!

– Мне не нужна прислуга, – сказал Вилли. – Проваливайте.

Беддерн смерил его наглым взглядом, уселся в кресло, стоявшее посреди салона, и, положив ноги в грязной обуви на софу, стал разглядывать свои ногти. Вилли смотрел на нахала с чувством неясной надежды. В конце концов, для того, чтобы все вернулось на круги свои, достаточно было, чтобы у него на лбу вдруг прорезались маленькие рожки. . . Но на это вряд ли стоило рассчитывать.

– Проваливайте, – повторил он, но не так уверенно.

– Я уже упоминал о мадмуазель Гарантье. . . – начал Беддерн. – В какой газете вы хотели бы увидеть о ней материал? Или вам все равно? Хорошо. Дайте мне шампанской. . . Очень любезно с вашей стороны. Я смогу переночевать на диване? Спасибо. А-а, «Вдова Клико». . . Это было любимое шампанское моего дворецкого. Назовите самую верную пару в мире, а? Пигмалион, а? Нет, моя задница. Кстати, давайте дадим ей слово.

Он потянулся к коробке с сигарами, достал одну и обнюхал. Держа в руке «Монте Карло», он возвел глаза к потолку:

– Наконец-то я нашел свою роль! – с нескрываемым восторгом произнес он. – Наконец-то я участвую в распределении земных благ. Дайте-ка мне еще шампанского.

– Продувная бестия, – с восхищением произнес Вилли.

Гарантье устало поднял руки.

– Послушайте, Вилли, может быть, достаточно. Это какое-то безумие. В конце концов, всему есть пределы. . . Мы же не герои фильма Гручо Маркса!

– Мы к этому еще придем, – с уверенностью пообещал Беддерн. – Мы окунемся в мир братьев Маркс, и при этом месье ничего не почувствует. Положитесь на меня. . .

Он с наслаждением попыхивал сигарой.

– Я издавна ненавижу природу, – заявил Беддерн, развалившись в кресле. – А если быть более точным, то с тех пор, как она приняла мою форму. С одной стороны, мой рост – метр пятьдесят пять, с другой стороны – ничего; я не отличаюсь ни красотой, ни хорошим телосложением. Совершенно очевидно, что при таких обстоятельствах нужно иметь идеал. Но

суровая реальность диктует свои условия, поэтому не остается ничего другого, кроме как прибегать к хитрости. Поэтому я никогда не смогу найти нужных слов, чтобы выразить мое спасибо за прилагаемые им усилия. Можно не сомневаться, что с такими бойцами, как мое, мир удастся вывернуть наизнанку. Что же касается действительности, то она заслуживает лишь кремового пирожного в физиономию. Я всегда с превеликим вниманием следил за успехами моего по газетным статьям, хотя терпеть не могу прессу в ее нынешнем виде. . . Кстати, каждый раз, когда я читаю, что над Голливудом сгущаются тучи, что звезды падают, я испытываю такое чувство, будто земля уходит у меня из-под ног. Вся эта великолепная чужая частная жизнь. . . Без нее я был бы вынужден жить за свой собственный счет. . . Бр-рр-р! Я считаю, что все мы должны платить специальный налог, чтобы вы могли жить припеваючи. Это своего рода моральное перевооружение.*

Блестя сальными глазками, он спросил:

– У моего было много женщин, а? Я имею в виду настоящих. Он не удовлетворялся идеалом?

– Зовите меня Вилли, – добродушно сказал Вилли.

– Можно? Вы не шутите? Знаете, с 1935 года я участвовал во всех заварушках, я всегда был здесь. . . И вот, теперь. . . Можно?

– Ну да.

– О Вилли! – нежно произнес Бебдерн. – О великий Вилли, царящий на этой земле! Позвольте мне завязать ваш шнурок – он развязался.

Гарантье держался с подчеркнутым превосходством, сунув руки в карманы пиджака и не скрывая тонкой улыбки, игравшей на его губах. Всем своим видом он показывал, что не имеет ничего общего с присутствующими в гостиной.

– Вот оно что! – понимающе сказал он. – Попытка прикрыться шутовством, возможно, не самый лучший выход, но я признаю, что жить стало действительно трудно. Тем более, что у вас ничего не получится. . .

– Да нет же, получится! – запротестовал Бебдерн. – Обязательно получится! Верно, Вилли?

– В чем дело? – спросил Вилли. Его прилично развезло, и он уже видел перед собой трех Бебдернов и двух Гарантье.

– Как это, в чем дело? – возмутился Бебдерн. – Во всем! Я сторонник прогресса, я верю в прогресс. Все получится!

– Ничего у вас не получится! – отрезал Гарантье.

Вилли грохнул кулаком по столу и рывкнул:

– Что получится, черт подери?

– Все, абсолютно все! – торжественно заверил его Бебдерн. – Я прогрессист, я верю в безграничный прогресс человечества! Представьте себе, у раков оргазм длится целые сутки! Так вот, благодаря Лысенко, благодаря марксистской генетике мы тоже придем к этому! Я верю!

– Если бы я знал достаточно крепкое ругательство, я бы выругался, – сказал Гарантье. – Я послал бы вас так далеко, что назад вы бы уже не вернулись. . .

– Народный гнев, а? – развеселился Бебдерн. – *Vox populi?*

Гарантье повернулся к окну.

– Когда я вижу за окном море, то даже не знаю, настоящее ли оно.

– Бросьтесь в воду, тогда узнаете! – проворчал Вилли, пытаясь отобрать бутылку у Бебдерна.

*Христианское движение, проповедующее преобразование мира через преобразование личной жизни.

– Что вы хотите, все запутать – это испытанный метод отчаявшейся буржуазии, – разглагольствовал Беддерн, попыхивая сигарой и прижимая к себе бутылку шампанского. – Все нужно исказить и тщательно приукрасить, намалевать действительность таким образом, чтобы от человека не осталось и следа. За неимением человека, – а я подразумеваю под этим словом, конечно, человека гуманного и культурного, вполне веротерпимого и человечески невозможного, – за неимением человека нам приходится работать над чем-нибудь таким запутанным, что сразу не поймешь, где нос, а где задница. Это то, что называют творением цивилизации.

Вилли поцеловал Беддерна в лоб, а тот чмокнул Вилли в щеку.

– Агага? – спросил Вилли.

– Агого, – ответил Беддерн.

– Хопси-попси?

– Попси-хопси!

– У вас все равно ничего не получится! – повторил Гарантье. – Вам не удастся разжать тиски бляюще-лирического буржуазного идеализма, который держит в оковах ваш разум. Это я вам говорю!

Беддерн сделал вид, что встает.

– Я ухожу, – раздраженно заявил он. – Я пришел сюда, чтобы оказать вам услугу, а не для того, чтобы выслушивать оскорбления. Я хочу, чтобы мои взгляды уважали! Я не потерплю, чтобы меня называли идеалистом! Я никогда не был членом партии, поэтому не понимаю, почему должен приходить в отчаяние!

– Ну, ну, ну, – произнес Вилли, удерживая его. – Я дам вам банан.

– Ладно, это меняет дело, – сказал Беддерн, опускаясь в кресло.

Гарантье продолжал наблюдать за чайками, и это делало его похожим на персонаж чеховских произведений.

– Впрочем, вы правы, – презрительно произнес он. – Мне понятны ваши мотивы. Вы надеетесь, что жизнь превратится в театр абсурда. Тогда у вас появится шанс удержаться на плаву. Этот метод описан еще Альбером Камю.

– Я добьюсь, чтобы у вас отняли американский паспорт, вот увидите, – проворчал Вилли.

– А я и не знал, что в Америке тоже есть паспорта, – заметил Беддерн.

– Из тех краев его завез в Европу Христофор Колумб, – сказал Вилли, – но теперь европейцы пытаются всучить его обратно. Все – идеологические подонки.

Беддерн вдруг рухнул на колени и, сложив перед собой руки, молитвенно возвел очи горе:

– Отче наш, иже еси на небеси, позволь нам подняться повыше! Позволь нам выйти на поверхность, сделай нас поверхностными! Дай нам миллиметр глубины, позволь нам наконец стать простыми, как слово «здравствуй»! Научи нас различать розовое и голубое, нежное и очаровательное, научи пользоваться собакой, лесом, закатом, пением птиц! Освободи нас от зла, освободи от абстракций, дай нам разум! О великий Вилли, живущий на небесах, научи нас наслаждаться журчанием ручейка и сном в густой траве, дай нам траву, былинку в рот и охапку под голову! Как это делается? Как это делается, Господи? Забери наши общественные устои, а вместо них позволь жить на Корсике, в песне Тино Росси! Пусть наша жизнь будет такой же высокой, как его голос, и столь же разнообразной, как его рифмы! Спаси нас, Господи, от белого и черного, примири с серым и порочным, сохрани чистоту для себя, а нас научи довольствоваться всем остальным! О Всемогущий, дай нам молоденькую простушку и средства воспользоваться ею! Верни нам секрет совокупления – простого, как приветствие, без всяких выкрутасов, при котором не рискуешь свернуть себе шею или переломать ноги! Верни нам лунный свет, вальс и позволь без ухмылки опуститься на колени перед женщиной!

О Великий и Всесильный, спаси нас от насмешки и критики, избавь от элиты и поставь над нами воплощение мечты молодой девушки! О Несравненный во всех отношениях, верни нам серенаду и веревочную лестницу, сонет и сухой лист между страницами книги, перенеси Ромео и Джульетту в Кремль! О Господи, создавший бездонные пропасти и гору Килиманджаро, верни нам способность жить легко и бездумно! Спаси нас от харакири самоанализа! Избавь нас от тайных договоров и нарциссизма, возьми человека и развяжи его, ибо он завязался в такой запутанный узел, что все – под предлогом освобождения – хотят разрубить его! Верни нам веру в непорочность и наши маленькие человеческие ценности, пусть они вернуться к нам со своими плюсами и минусами; достань нас из скафандров, оставив только несколько маленьких глотков воздуха, и дай простоту, необходимую для того, чтобы целовать женщину только в губы! Забери себе гений и верни нам талант! О Великий знаток истории, остановись! Оставь нас такими, какие мы есть: маленькими и приятными во всех отношениях. Остановись и тщательно измерь нас: мы выросли из своих штанишек! Мы стали слишком большими для нашей незначительности! Тебе не составит большого труда найти нас: прислушайся к нашим крикам, когда мы занимаемся любовью, вспомни, кто мы, расположись наверху! И прежде чем браться за создание новых Сталиных и целой оравы гениальных отцов народов, прислушайся к голосам мужчин и женщин, занимающихся любовью: остановись. Позволь им продолжать свое дело. Не мешай им ни под каким предлогом. Сохрани гений для себя: тебе он особенно нужен, это говорю тебе я, человек. Я знаю, что идеалом тут и не пахнет, оставь идеал и абсолют для себя, о Ты, кто никогда не ходил к дамам легкого поведения! Избавь нас от идеологических оргий, верни нам благопристойную пару! Сделай так, чтобы мы не были счастливы все вместе, и в то же время так, чтобы все-таки были счастливы! О Ты, для кого любовь – не что иное, как малая нужда человечества, оставь нам нашу малую нужду! Раздели нас по парам, не дай сбиться в кучу! Верни нам вкус к дуэту! Поддержи баркароллы, а не гимны; серенады, а не хоровое пение; не дай затеряться трели маленькой флейты в могучем звучании симфонического оркестра! Поддержи ее, сделай так, чтобы ее слышал каждый! Избавь нас от Вагнеров, воспевающих прошлое, тяжкий труд, кровавые битвы и общественные устои, привей нам вкус к хрупкости и нежности! Отними у наших степенных мыслителей тягу к эстетствованию, а взамен дай им чувство прекрасного! Кстати, верни нам вкус ко всему красивому! Реабилитируй в наших глазах вкус, несчастный вкус, который, пресмыкаясь как червь, вынужден скрываться под обломками прекрасного! О Ты, способный творить на бумаге самые невероятные чудеса, верни нам любовь к локону и медальону на сердце! О Ты, который на бумаге может все, избавь нас от организационной схемы, планирования, перфокарт и диаграмм! Верни нашим сыновьям любовь к шуршащим юбкам и волнующее кровь ощущение от прикосновения к нежному девичьему бедру – крылышки и ножки подаются вместе. Сделай так, чтобы наши девушки никогда не переставали ездить на велосипедах, избавь нас от пуритан, избавь нас от пуритан, избавь нас от пуритан! Забери их себе и делай с ними все, что хочешь, но я предлагаю следующее: заставь их носить женское белье, пусть понюхают! Но, о Всемогущий, ничего не делай для нас! Не улучшай нас ни под каким предлогом! Оставь нас навечно такими, какие мы есть, нас это вполне устраивает! Если мы Тебя не удовлетворяем, иди в другое место и там создай себе кого-нибудь еще! Но только здесь ничего не трогай! Оставь нам гадюк, ос и насморк – ведь чихать это так здорово! И если Ты считаешь, что всенепременно должен нам помочь, время от времени проявляй себя в нас в качестве возбудителя!

– Вы не получите от меня ни гроша, – проворчал Вилли.

– Пусть месье не беспокоится, – сказал, вставая, Бебдерн. – Если я смогу заставить месье улыбнуться... Одна улыбка, простая улыбка на его августейшем лице, и я буду полностью

вознагражден. . . Что касается остального. . .

Он скромно опустил глаза.

– Если месье соблаговолит говорить мне иногда простые слова «несчастный сукин сын». . .

– Летучая мышь, летучая мышь! – пробормотал Гарантье.

– Где? – всполошился Вилли, который видел пока только нескольких розовых слонов.

Гарантье с отвращением отвернулся. Он никогда не любил экспрессионизма.

– Месье принимает свои надежды за реальность, – сказал Бебдерн. – Он очень торопится поставить точку, не так ли? Могу ли я шепнуть ему на ушко, что летучая мышь не возвещает прихода весны, что сумерки возвещают наступление не утра, а ночи, что тупикам свойственно отсутствие выхода, и поскольку невозможное будет преследовать нас с ожесточенностью бормашины, бороться с ним можно будет не крестовыми походами, революциями, идеологиями или самоубийствами, а только поэзией, смехом и любовью. . . Других способов борьбы с ужасами абсолюта просто нет. . .

– Хватит, – сказал Вилли. – Я плохо себя чувствую.

В номере воцарилась тишина. «Сатрапу больше не смешно», – подумал Гарантье.

Вилли стоял, опустив голову и опираясь обеими руками о стол. В тишине отчетливо слышалось его свистящее дыхание. Став взрослым, то есть с того момента, когда он начал таиться от окружающих, Вилли держался только за счет розыгрышей и шуток, и, поскольку домовых, гномов и Котов в сапогах не существовало в природе, ему хватало общества нескольких партнеров, присутствие которых не давало страху окончательно завладеть им. По крайней мере, этого еще можно было требовать от человеческих отношений. В компании было легче оттолкнуть небытие и смерть, держать их на расстоянии при помощи розыгрыша, шутовства, юмора и спиртного, ибо все это до неузнаваемости искажало то, что пугало и несло в себе тайную или явную угрозу. Но такие компании собирались не часто. Чтобы добиться желаемого результата, следовало оказаться среди посвященных и почувствовать духовное родство с ними, этими вдохновенными артистами. Сила смеха проявляется в полной мере только в их обществе. Чудесного появления Бебдерна оказалось достаточно, чтобы Вилли на какое-то время забыл об ужасах окружающего мира, но это облегчение было лишь временным, и внезапно действительность – желание держать в своей руке нежные пальцы Энн, целовать ее веки, иметь от нее ребенка, наслаждаться ее улыбкой, быть счастливым, наконец – со всей силой вновь обрушилась на него. Тут уж просто не было места уверткам и шутовству, ибо наступил момент истины. Жизнь во всей своей величественной простоте снова вступала в свои права, и юмор был бессилен справиться с глупостью сердца.

Вилли начал расчесывать запястье, потом зуд перебросился на шею, где прямо на глазах образовывались багровые припухлости: неприятности вызывали у него вспышку крапивницы, иногда усугублявшуюся приступами астмы и сенной лихорадки. Он страдал неизлечимой хронической формой аллергии, поскольку, по вполне правдоподобному объяснению Гарантье, в первую очередь не мог переносить самого себя. Он сам был воплощением своих постоянных и прилипчивых неприятностей. Вполне возможно, что стоило бы ему раз и навсегда принять себя таким, каким он был, выпустить испуганного ребенка из его тайного убежища, как от астмы и крапивницы не осталось бы и следа. Но вместо того, чтобы перед всем миром признаться в своей незрелости и инфантильных мечтах о нежности и материнской любви, он предпочитал задыхаться, чесаться и чихать до кровотечения из носа. И нервная система мстила ему за такое издевательство над самим собой. Постепенно он превратился в свой собственный раздражитель. И персонаж, который он годами тщательно лепил из себя, стал таким образом жертвой жесточайших приступов астмы и нестерпимого зуда, что, несомненно, было единственным способом природы отомстить за насилие над собой, взбаламутить воду

в чистом пруду. К тысячам известных причин аллергии, видимо, следует добавить и мечту, заключенную в среду, совершенно чуждую ей – среду простых человеческих возможностей: все равно как закупорить горизонт в бутылку. Тут есть над чем поломать голову. Несомненно, что этот огромный плененный горизонт врачи и называют нервным расстройством.

– Должно быть, я снова съел какую-то дрянь, – проворчал Вилли, яростно скребя себя ногтями. – Эта французская кухня меня доконает.

Всего за несколько секунд его тело превратилось в комок изнывающей от нестерпимого зуда плоти, и тут же начался приступ астмы. На глазах испуганного Бебдерна, беспомощного перед этим внезапным проявлением действительности, Гарантье, который предвидел такой оборот событий, помог Вилли лечь.

– Ничего страшного, – сказал он. – Это эмоции. Каждый раз, когда реальность берет верх, у него начинается приступ астмы.

Хватая воздух широко раскрытым ртом, Вилли бился в конвульсиях, словно рыба, выброшенная на берег, а Гарантье держал перед его лицом аэрозольный баллончик с тенолом. Впрочем, для Вили самым невыносимым в страдании была его подлинность. Его приводило в ужас то, каким образом страдание накладывало свой отпечаток на лицо своей жертвы. Поистине, искусство на этом заканчивалось.

– *Finita la commedia*, – прохрипел Вилли. – Черт побери! Чешите меня.

Гарантье и Бебдерн быстро раздели его.

– Чешите его, – скомандовал Гарантье. – У меня заняты руки.

Он продолжал нажимать на кнопку аэрозольного баллончика, направляя струю лекарства в рот Вилли. Бебдерн начал чесать продюсера, с ужасом ощущая под пальцами плотные вздутия размером с крупную рыбу чешую.

– Сильнее! – взвыл Вилли.

Спустя несколько минут Бебдерн почувствовал, что руки отказываются служить ему.

– Я больше не могу, – простонал он.

– Пойдите в ванную комнату и принесите банную рукавицу, – приказал Гарантье.

Приступ длился почти два часа. Сначала отступила астма, затем утих зуд, хотя все тело Вилли по-прежнему было покрыто красными рельефными пятнами, начинающими постепенно бледнеть.

На лице измотанного приступом Вилли все явственнее проступали детские черты. Теперь это было ясное лицо ребенка, засыпающего в обнимку со своей любимой игрушкой. По полу-закрытым глазам было видно, что сон уже баюкает его на своих бархатных крыльях. Его лоб с прилипшими завитками волос нес на себе отпечаток самой чистоты, а черты лица, которые теперь ничего не скрывали, явили свою истинную красоту: изящный прямой нос, четкий контур губ, которые, казалось, не знали поцелуя, упрямый подбородок с ямочкой, придающей особое очарование улыбке. . . Воображение без труда рисовало образ матери, которая, склоняясь над этим лицом, с уверенностью думала: «Его будут любить. . .»

Дыхание Вилли выравнилось. Именно в такие моменты он словно впервые в жизни открывал для себя вкус воздуха и в полной мере ощущал неслыханную щедрость окружающего мира. Он улыбнулся и закрыл глаза. Гарантье еще несколько минут посидел рядом, затем поднялся.

– Не желаете ли перейти в мой номер? – предложил Гарантье Ла Марну. – Я к вам скоро присоединюсь.

Оставшись один, он прошел в комнату Энн и вернулся с плюшевой белочкой, которая всегда стояла на ее ночном столике – маленькой милой игрушкой с круглыми глазками-бусинками, напоминавшей персонаж мультфильма. Гарантье положил ее на кровать рядом с

Вилли и вышел из номера к ожидавшему в коридоре Ла Марну.

Следом за Гарантье Ла Марн вошел в номер и, не снимая пальто и шляпы, уселся в кресло. Предложенный ему стакан виски он принял с заметной неохотой. Он опасался Гарантье: тот чувствовал подвох за версту и тем самым взваливал на ваши плечи ответственность за все самое неприятное, в том числе и за вашу собственную жизнь, напрасно растраченную в «поисках синей птицы». Под «поисками синей птицы» Ла Марн подразумевал вечно высмеиваемые устремления и мечты, которые без конца берегут вашу душу и которые не в силах заглушить никакое шутовство.

– Ну, какого черта, – произнес он просто так, на всякий случай, чтобы поставить все точки над «i».

– Похоже, мы уже где-то встречались, – сказал Гарантье.

– Вы и он?

– Я вас умоляю. . . Мне кажется, мы с вами сидели вместе в президиуме Конгресса по борьбе с расизмом в 1937 году. Я был членом американской делегации.

– Не помню, – сказал Ла Марн, поднеся ко рту стакан с виски. – Я, знаете ли, шью обувь.

– Шьете обувь? – удивился Гарантье. – Но совсем недавно вы называли себя экспертом-бухгалтером.

– В конце концов, имеет человек право поменять профессию или нет? – раздраженно спросил Ла Марн.

– А может, мы встречались в 1936 году в постоянно действующей рабочей комиссии III Интернационала? – продолжал настаивать Гарантье.

– О-ля-ля, – произнес Ла Марн. – Вы знаете, какая нога у булочника?

Он вытянул руку:

– Вот такая!

Под взглядом Гарантье Ла Марн вертелся, словно уж на сковородке.

– Нет, я серьезно, – сказал Гарантье. – Вилли здесь нет, поэтому нет больше смысла паясничать. . . Я абсолютно уверен, что мы с вами уже встречались. В Лиге защиты прав человека, может быть?

– Чего вы ко мне пристааете? – плаксивым голосом воскликнул Ла Марн. – Могу я пошутить, в конце концов? Имею я право сменить работу или нет? Я честный рабочий, занимаюсь своим делом, а то, о чем вы говорите, меня не интересует. . . Разве я у вас спрашиваю, с кем вы спите? – И, отвернувшись, он добавил: – Этот тип меня вконец достал.

Тем не менее в номере повисла ностальгическая тишина: оба собеседника напоминали гребцов-ветеранов из Оксфорда, вспомнивших о своих девяноста проигрышах против одиннадцати команды Кембриджа.

– Налейте себе еще виски, старина, – предложил Гарантье. – А что стало с остальными парнями из нашей команды?

– Я совершенно не имею понятия, о чем вы говорите, – ответил Ла Марн с потрясающим чувством собственного достоинства.

– Мальро, например, состоит при генерале де Голле, – пояснил Гарантье. – Это самый сенсационный разрыв с эротизмом, насколько я знаю. . . А другие? Те, кого еще не расстрелял Сталин?

– Оставьте меня в покое, – заявил Ла Марн. – Я два часа чесал вашего патрона и не намерен чесать еще и вас в тех местах, где бы вам того хотелось. Чешитесь сами.

– А вы помните малыша Дюбре? – спросил Гарантье. – Того, кто на собраниях мечтал вслух о солнечном, гармоничном и братском французском коммунизме, не омраченном ненавистью, постоянно совершенствующем, стремящемся сохранить вечные французские ценности: терпимость, различие во взглядах, уравновешенность и свободу. Что с ним стало?

– Он до сих пор коммунист, – ответил Ла Марн. – Вот что с ним стало.

– А остальные? В тридцатые годы левая интеллигенция в Париже была не столь многочисленной. Что стало с теми, чьи трепетные и вдохновенные лица можно было видеть среди борцов за социальную справедливость?

– Кое-кто еще печатается, – скачал Ла Марн.

– Это же здорово!

– Но большинство так и не смогло оправиться от шока. Нацисты уничтожили несколько миллионов евреев – у людей такое бывает; Хиросиму превратили в пепел – и такое случается; на Востоке диссидентов бросают в тюрьмы и вешают – чего не случается среди людей, мой дорогой, хотим мы того или нет! А еще был советско-германский пакт 1939 года, может быть вы об этом слыхали?

Гарантье снисходительно улыбнулся. Воспоминания о пакте были для него особенно неприятными и вызывали у него сильнейшее ощущение сопричастности, величия и восторга. Ибо он считал, что пойти на такую жертву и проглотить подобную пилюлю – это, в некотором роде, неоспоримое доказательство благородства и чистоты конечной цели. Он достал из портсигара сигарету, аккуратно вставил ее в мундштук и щелкнул зажигалкой. Все элементы в совокупности – рука, золотая зажигалка, мундштук из слоновой кости и сигарета – сложились в приятный для глаза натюрморт. Ла Марн машинально окинул Гарантье взглядом с головы до пят: высоко застегнутый пиджак устаревшего покроя из английского твида, узкие брюки чуть ли не эпохи короля Эдуарда и начищенные до зеркального блеска изящные высокие туфли – над кем он смеется? Над собой? «В сущности, – подумал Ла Марн, – это не что иное, как проявление безграничного отвращения к своему времени и непреодолимая ностальгия по прошлому. По той эпохе, когда идеи были еще незапятнанными и не успели превратиться в кровавую реальность».

– А что стало с Пупаром? – спросил Гарантье. – С тем, который с 1934 по 1939 годы выступал в Вель д'Ив с пророческими речами о стремлении народов к миру, способном воспрепятствовать развязыванию новой войны, и о мужестве масс, которое, якобы, сделает ненужными крестовые походы и позволит этим самым массам самостоятельно добиться освобождения?

– Он живет на юге и выращивает орхидеи. Каждый ищет компенсацию на свой лад.

Под насмешливым взглядом Ла Марна, которого было трудно одурачить подобными фокусами. Гарантье на минуту замолчал.

– А этот... как его... Рэнье? – спросил наконец Гарантье. – В 1934-м он входил в комитет по освобождению Тельмана, верно? Рэнье – кажется, именно так?

– Ну и что дальше?

– Как сложилась его судьба?

– Так вот вы куда клоните...

– Просто речь идет о моей дочери, – ответил Гарантье. – Для меня это единственное, что еще... В конце концов, я хотел бы знать...

Он замолчал. Это было выше его сил. В присутствии постороннего человека он не мог признаться, что, кроме дочери, у него не осталось больше ничего, что есть только одно средство, с помощью которого можно построить мир, и это средство – любовь. Он достал из кармана трубку и, держа ее в руке, сделал широкий неопределенный жест...

– Я хотел бы знать, какие планы у этого парня. . .

– Готов ли он тоже выращивать орхидеи?

Ла Марн встал и надел шляпу. Он смотрел на Гарантье с таким бодрым видом, будто только что изнасиловал бабушку-старушку, вытер член о занавеску, а потом пошел на кухню и выпил молока из кошачьей плошки.

– Вы окажете мне большую услугу, – сказал Гарантье.

Ла Марн рыгнул.

– Через неделю он уезжает в Корею. Он принадлежит к категории тех, кто считает, что для восстановления справедливости достаточно наказать идеи, когда они начинают плохо себя вести. Вы понимаете, горбатого могила исправит. Он не такой, как мы, согласны? Ничему не научился и ничего не забыл. Ну ладно, черт возьми, до встречи!

– Черт возьми. . . – машинально пробормотал Гарантье. – Я хочу сказать. . .

Но Ла Марн уже вышел, испытывая удовлетворение от того, что ему все же удалось сохранить лицо,

XIII

Когда они проснулись, день уже был в самом разгаре и, словно рог изобилия, изливал на них солнечный свет, запахи, звонкие голоса и яркие краски юга – синеву неба, аромат мимозы, смех детей, стук копыт мулов, идущих под открытым окном. В тщетной попытке выставить день за порог Рэнье поторопился закрыть ставни и задернуть шторы. Энн говорила, что нужно одеться и сходить на прогулку, нельзя же валяться в постели, когда стоит такая погода, но он вернулся к ней, и они забыли, что можно и чего нельзя. В три часа пополудни они снова проснулись, и Рэнье пошел на кухню за виноградом и апельсинами. Стены комнаты были голыми, да и мебели в ней было совсем немного: он всегда ждал женщину, которая вдохнула бы жизнь в этот дом.

«Я тебя совсем не знаю, – думала Энн, перебирая его светлые с проседью волосы, касаясь кончиками пальцев его лба, век, губ, – я тебя совсем еще не знаю, такой ты есть, таким ты и останешься, незнакомым и все же возможным».

– Кто ты? Я ничего о тебе не знаю.

– Так лучше. Пусть так остается и дальше. Во всяком случае, я – приблизительный.

– Приблизительный?

– Да. Я – воплощение приблизительности. Почти человек, почти жизнь, которая мечтает о почти мире и почти обществе. Кстати, поиск приблизительности – это и есть то, что называют цивилизацией. Как только человек переступает границы приблизительного, он вторгается в сферу нечеловеческого. За пределами приблизительного – мир Гитлера и Сталина. Стоит переступить эту незримую черту, и ты попадаешь в среду, враждебную человеку. Единственное, что не является приблизительным, – это смерть.

– И от этого одной рукой становится меньше, – скачала Энн.

– Да. Я хотел жить в почти свободном мире. Я никогда не мог жить только для себя: «я», «мне». . . это как наркотическая зависимость. А потому сначала была война в Испании, потом служба в авиации Свободной Франции, высадка на оккупированную территорию и теперь. . .

– Корея, – прошептала Энн.

– Да.

Рэнье рассмеялся.

– И все из-за того, что «почти» меня никогда не удовлетворяло. Именно это и делает меня таким смешным. Я никогда не мог сказать себе: для «почти» ты сделал все, что было в твоих силах. Фашизм почти побежден, остается Сталин, но теперь пусть другие завершают начатое. Ты сделал почти все, что мог, а потому остановись, позволь другим бороться за почти свободный мир и попробуй быть почти счастливым. Но поскольку я никогда не мог почти любить женщину. . . Это то, что называется быть полным противоречий. И даже то, что называется быть почти человеком. . .

«Если бы Горький всерьез заинтересовался тем, что так удачно назвал «ареной старого буржуазного идеалистического цирка», – думал Рэнье, – то непременно заметил бы эту смешную пару: звезду Голливуда и калеку из «республики сильных духом», которые, по всей видимости, были созданы друг для друга. И если бы неизвестные нам боги, жаждущие развлечений, забросили свою сеть в омут наших мечтаний, то вытащили бы на поверхность этого источника комизма других грустных клоунов, прилагающих невероятные усилия, чтобы овцы были целы и волки сыты, а также их стремление к абсолюту и готовность согласиться на «почти»,

что можно было бы назвать мирным сосуществованием между возможным и невозможным. Я никогда не был коммунистом, но вместе с тем никогда не опускался и до яростного воинствующего антикоммунизма, как это обычно бывает в драмах с большим накалом страстей, когда бурная любовь заканчивается разрывом отношений: мне никогда не приходилось порывать с самим собой. Но блокадой Берлина и виселицами Будапешта и Праги, сибирскими концлагерями и вторжением в Корею Сталин угрожает всему тому, что мы почти спасли, почти вырвали из пасти Гитлера. Всего этого я тебе не говорю, потому что теперь это не имеет никакого значения, я встретил тебя и наконец порву со всем тем, что всегда объединяло меня с другими людьми и другими местами. Я наконец порву с тем, кто всегда знал, что любое творение человеческих рук – это всего лишь «почти», но тем не менее никогда этим «почти» не довольствовался. С тем, кто боролся против всех демонов абсолюта, но так и не смог смириться с невозможным, кто всегда знал, что у человека нет большего врага, чем духовный экстремизм, однако сам был экстремистом в душе. Вот почему я прижимаюсь к тебе с такой надеждой и отчаянием, я хочу наконец остановиться, сдержаться, ограничить себя, отвернуться от горизонта, этого вечного странника, а в награду за это получить твои омытые утренним светом глаза, доверчиво трепещущие перед объятием ресницы и этот женский взгляд, в котором так хорошо укрыться и куда всегда хочется возвратиться. . . »

– О чем ты думаешь?

– О конце невозможного, – ответил Рэнье и, склонившись над ее растянувшимися в улыбке губами, поцеловал их тонкий контур.

XIV

Сильнейший за последние годы приступ астмы стал для Вилли подходящим поводом для объяснения причин задержки звездной пары в Европе – владельцы киностудии начали проявлять беспокойство, и ему позвонил парижский представитель компании. Вилли объяснил Россу, что ему нужно несколько дней отдыха, чтобы прийти в себя после приступа.

– Энн вполне могла бы вернуться одна, – проворчал Росс на другом конце провода. Имея дело с Вилли, он всегда ожидал с его стороны какого-либо подвоха. – Съемки должны были начаться уже сегодня.

– Одним словом, вы хотите, чтобы жена оставила меня одного подышать здесь ради выполнения своих обязательств? – взревел Вилли. – После этого публика едва ли поверит вашим ханжеским разглагольствованиям насчет самой дружной супружеской пары в мире.

Росс не сразу нашел, что сказать, и в разговоре образовалась неловкая пауза.

– Послушайте, Вилли, я должен дать боссам конкретный ответ. Они не могут держать на съемочной площадке людей, которые ничем не заняты. Когда вы рассчитываете вернуться?

– Дайте мне еще неделю, – ответил Вилли.

Он понимал, что в любом случае ему не удастся держать в тайне уход Энн больше недели. Вилли уже видел репортеров, якобы бесцельно слонявшихся по холлу отеля, и иногда даже задавался вопросом, уж не его ли запах их привлекает. С другой стороны, этого времени с избытком должно было хватить Сопрано, чтобы объявиться и навести должный порядок. Вилли верил в него, как в самого себя. Он постоянно ощущал его незримое присутствие, и это вселяло в него чувство покоя и уверенности, давало впечатление полного контроля над теми жалкими усилиями, которые иногда прилагает жизнь, чтобы вставить вам палки в колеса.

– Через неделю мы приедем. Разумеется, если не случится очередного приступа. Кстати, хочу вам сообщить, что я предлагал Энн вернуться, но она отказалась. Интересы студии я принимаю к сердцу гораздо ближе, чем кое-кто думает и чем они того заслуживают. Можете мне поверить, я не сделал ничего, чтобы заставить Энн остаться на Лазурном берегу, но, полагаю, это сильнее ее. . .

Вилли испытал настоящее наслаждение от двусмысленности своих слов, истинный смысл которых Россу было не дано понять. Высочайший класс.

– Договорились, – сказал Росс. – Я вот только думаю, не сможем ли мы извлечь из этого выгоду в плане рекламы, раз уж теряем во времени и деньгах. Мы могли бы снять Энн, сидящей у вашей постели или что-нибудь в этом роде. . .

– Об этом не может быть и речи, – возмутился Вилли. – Здесь никто не знает, что я болен и тем более, что еще не уехал. Мне, представьте себе, нужен покой.

Он чувствовал, что подобное пренебрежение рекламой было для него абсолютно несвойственно, но у него не было выбора.

– Я хотел поговорить с Энн, но не смог найти ее, – сказал Росс.

– Отлично, – спокойно ответил Вилли. – Одну секундочку, сейчас я ее позову. Энн, – крикнул он, – Энн!..

И положил трубку. После этого он позвонил портье и отдал распоряжение не соединять ни его, ни мадемуазель Гарантье ни с одним человеком, звонящим из Парижа. Таким образом он выигрывал по меньшей мере двое суток, а за это время Энн, конечно же, вернется. Горячая ванна, и все будет забыто. Иначе и быть не может, большая любовь так не приходит, только

не в карнавальный вечер, и не с такой легкостью – жизнь устроена совсем не так, черт возьми. И потом большая любовь, настоящая – это нечто такое, что не может быть разделено. Чтобы любить по-настоящему, нужно быть одному. Большая любовь – это когда ты любишь женщину, а она тебя – нет. Вот тогда это истинная любовь: всепоглощающая, разрушительная, как сама жизнь во всем своем ироническом и подавляющем великолепии, которая берет вас за горло, безжалостно душит и заставляет корчиться от невыносимого зуда.

В его распоряжении было всего сорок восемь часов, чтобы придумать какую-нибудь отговорку на случай появления в Ницце представителя киностудии, что было более чем вероятно. Пока Вилли не имел ни малейшего представления о том, что ему скажет, но он верил в свой талант импровизатора. Он всегда умел находить нужные ответы, никогда не подготавливая их заранее. Этот природный дар позволял ему с честью выходить из стычек со всякими мерзкими тварями, которые, подобно лохнесскому чудовищу, время от времени поднимаются на поверхность жизни. Наилучшим образом способности Вилли проявлялись при непредвиденных обстоятельствах.

Он не позволит этим целлулоидным сукиным детям прервать то небольшое гигиеническое приключение, которое пойдет Энн только на пользу. До сих пор малышка занималась любовью без особого энтузиазма. Состояние неудовлетворенности не позволяло ей расцвести и было причиной холодности, начавшей сказываться на ее актерском таланте. Оставалось надеяться, что парень, на которого она запала, понимает толк в любовных утехах и сможет доставить ей удовольствие.

Вилли разгрыз конфету с чувством снисходительного превосходства. Подобным историям не стоило придавать особого значения. Заткнув кляпом рот своей совестью, он улыбнулся с видом выпускника Итона – этакое воплощение высокомерной элегантности, замешанной на полнейшем равнодушии. Высокий стиль, ничего не скажешь.

Помимо всех талантов, которыми его щедро наделила природа, он обладал еще одним: умением двигаться по поверхности самого себя, не проламывая покрывавшей его оболочки – очень тонкой и хрупкой. Это напоминало своеобразное фигурное катание, балет вечной *commedia dell'arte*, импровизацию, направленную на то, чтобы любой ценой избежать встречи с испуганным малышом, оставленным тридцать лет начал в темном чулане да еще лишенным права позвать маму.

Для розыгрыша этой *commedia* требовались прежде всего партнеры, оставаться одному было нельзя ни в коем случае, поэтому неожиданное появление Бебдерна стало в этом смысле настоящим даром небес. В его отсутствие приходилось удовлетворяться обществом старины месье Верного. Одевшись, Вилли зашел в номер Гарантье. Тот сидел в полумраке, сложив на груди руки и прикрыв глаза. Собственно, было всего три часа пополудни, и говорить о сумерках еще не приходилось. Но Гарантье удавалось создавать вокруг себя персональную полутьму, которая распространялась на все, что его окружало. Это был его образ жизни, его способ держаться и дышать, и он простирался до серого неба, до зимнего моря, а под кажущимся бесстрашием скрывалось, быть может, страстное желание наложить отпечаток своей тайной печали на весь мир. Во всем этом Вилли усматривал не только чисто эгоцентрическое желание втянуть мир со всеми его войнами и революциями, миллионами победителей и побежденных в личные переживания, но и гипертрофированный эгоизм, и присвоение детской болячкой всех страданий человечества.

– Бебдерн ушел? Он меня забавляет. Нет ничего смешнее людей, с которых заживо содрали кожу.

– Вы найдете его в вестибюле. Мое общество его не устраивает. Я его смущаю.

– Я хочу прогнись. Если позвонит Энн, скажите ей, чтобы она не делала глупостей. Эта

дурацкая история ни в коем случае не должна всплыть наружу. Объясните ей, что ради ее же блага крайне важно, чтобы я был с ними. Это единственный способ уладить дело и придать ему совершенно благопристойный вид. Как только я буду рядом с ними, ни у кого не возникнет повода для грязных сплетен. Я готов следовать за ними повсюду, куда бы они ни отправились. Для них это – идеальное прикрытие, а для меня – вопрос самолюбия. Даже если они захотят покататься в гондоле по каналам Венеции, я готов стать гондольером. Совсем недавно Росселлини испортил карьеру самой Бергман: на нее ополчились все организации американских блюстителей морали. В Голливуде ей теперь делать нечего. А все потому, что ее муж, Линдстрём, не сумел обставить дело нужным образом. В нашей профессии мы не можем позволить себе провоцировать мораль и общественное мнение. С минуты на минуту на них набросится целая свора репортеров.

Вилли сделал паузу и насмешливо добавил:

– Только не говорите ей, что я делаю это из любви к ней. Чтобы она проглотила это, нужно было бы, чтобы я все подстроил, но все равно она не поверила бы.

– И была бы не права.

– Напомните ей, что на карту поставлено мое честолюбие. Все знают, что я законченный негодяй: пусть чтит мою репутацию.

– Успокойтесь, Вилли. Вероятно, Энн встретила большую любовь, а раз так, то она продлится недолго. Особенно, если речь идет действительно о большой любви. Люди поняли это на примере революций.

Голос Гарантье звучал почти что доброжелательно. И именно его голос Вилли ненавидел больше всего: глубокое разочарование превращало все в суету и пыль. «Это надо уметь – до такой степени мерить мир на свой аршин!» – с негодованием подумал Вилли.

– Советую вам надеяться, что так оно и будет, – сказал он.

Он вышел, но вместо того, чтобы направиться к лестнице, ведущей на первый этаж, уселся на золоченую банкетку с пурпурной обивкой, которая стояла у двери номера, и терпеливо просидел в коридоре около получаса. Эта уловка должна была убедить телефон, что он ушел. Все телефоны были хитрыми бестиями, и на них нужно было устраивать засады. Чтобы вынудить их зазвонить, зачастую достаточно было заставить их поверить, что дома никого нет.

Вилли била мелкая дрожь. Если дело примет серьезный оборот, ему придется рассчитывать только на Сопрано. Но как добраться до этого проклятого сукина сына? Он смог получить телефонный номер по адресу в Палермо, который дал ему Белч, но, позвонив, услышал в трубке музыку и веселый женский смех. Вилли слабо знал итальянский язык, но чтобы понять, что он попал в бордель, не нужно было быть лингвистом. Однако это его несколько успокоило – Сопрано обретал плоть и кровь. Вилли всегда верил в чудеса, то есть во всякую дрянь, которая управляет судьбами людей. Белч, Сопрано и вся мафия были тем, чем, старея, становятся сказки: последним воплощением, в зависимости от возраста человека, волшебной палочки, Сезама-откройся и ковра-самолета, тем, чем становится «Тысяча и одна ночь», постарев на тысячу и один день. Даже сейчас, сидя в коридоре, он, как истинный верующий, был убежден, что его хранит Ее Величество Подлость: нужно только вести себя как подлец, и тогда она проявит свою благосклонность, защитит и поддержит.

Он услышал телефонный звонок и устремился к двери. Когда он вошел, Гарантье уже собирался положить трубку. Он даже не пытался скрыть свою озабоченность.

– Это Энн. . . Возьмите трубку. Я терпеть не могу подобных ситуаций.

Энн была удивлена, услышав в трубке иронический и снисходительный голос Вилли: она забыла его.

– Дорогая, вы даже не представляете себе, какая это для меня радость – знать, что вы наконец-то нашли свое счастье. . . Это очень полезно для вашего искусства. . . Я отправлю вам ваши чемоданы и открою на ваше имя счет в банке «Барклайз» в Монте-Карло на тот случай, если у вашего друга вдруг проявится тяга к роскоши. . . Немного белья вам, разумеется, тоже не помешает. Мне кажется, это все, что вам сейчас нужно. . . Не могли бы вы сообщить мне, сколько еще времени продлится эта история? Неделю или немного больше? Это лишь для того, чтобы знать, как вести себя перед журналистами. . .

– Я ничего не могу вам сказать, Вилли.

– В конце концов, мы, актеры, всем обязаны прекрасным чувствам. . . Мы живем ими. Без этих маленьких проявлений искренности не было бы искусства. Нам нужно склониться перед ними в глубоком поклоне – ведь они проходят так быстро! И доставляют нам. . . столько страданий! Кстати. . . Вы не хотите поговорить с отцом?

– Нет.

– Хорошо. Он поймет. Он тоже натура крайне деликатная.

– Вилли. . .

– Не беспокойтесь. Я переживу. И, если позволите, процитирую одного французского поэта. Некого Ронсара. . . «Живите, коль верите мне, днем сегодняшним, спешите сейчас же сорвать розы жизни. . . »

– Спасибо, Вилли. Я с детства знаю это стихотворение.

– Вы это от меня скрывали. Несомненно, это свидетельствует о нашей тактичности. . .

Ни слова, ни тон пикировки не имели никакого значения – важно было лишь то, что он никак не мог положить трубку. Это сделала Энн – так закончился последний разговор в их жизни.

XV

Она положила трубку и, отвернувшись, прижалась щекой к подушке. В белизне комнаты тени двигались по воле легкого ветерка, шаловливо игравшего со шторами. Рэнье склонился над профилем, который наконец-то придал смысл всей его бродячей жизни. Пряный воздух окутывал их той особенной средиземноморской негой, в которой находят свою первопричину все те, кто любит и хочет быть любимым. В атмосфере покоя, который медленно нес их на протяжении последних часов и был одновременно рекой и устьем, обликом и открытым морем, каждая секунда, казалось, смешивала вечность с эфемерностью, и Энн улыбнулась его печальному и такому внимательному, изучающему взгляду.

– Каждый раз, когда ты на меня смотришь, создается впечатление, что ты делаешь это про запас. Давай оденемся и выйдем. На улице так хорошо.

– Повсюду.

– Что?

– Повсюду хорошо. Снаружи. Внутри. Повсюду.

Она протянула руку за гроздью винограда, но не нашла в себе сил ни поднести ягоды ко рту, ни положить их на место. Ее рука с виноградом опустилась на простыню.

– Давай встанем и выйдем на улицу, Жак, – снова прошептала она, чтобы напустить на себя страха.

– Правильно! – энергично подтвердил он, и они еще теснее прижались друг к другу.

– Подонки, – пробормотал Рэнье, думая о ненависти и войне. – Я даже не знаю, что они собираются защищать. . .

– Я ничего не хочу защищать, – решительно сказала Энн. – Во всяком случае, не сейчас. Говорят, что как только идея обретает плоть, она превращается в труп. . .

Рэнье улыбнулся.

– Вовсе нет. Когда идея в самом деле обретает плоть, она становится женщиной. . .

Он слегка отстранился и, нахмурившись, с серьезным видом посмотрел на ее грудь. Энн с трудом сдерживала смех, потому что чувствовала, что в его руке ее грудь приобретала идеологическое содержание, становилась чем-то вроде двух маленьких близнецов Западов. Сразу же после встречи Рэнье сообщил ей, что через десять дней отправляется в Корею с войсками ООН, чтобы противостоять новому натиску тоталитарного режима. Он рассказал ей об этом незамедлительно, как честный человек говорит, что уже женат. Но это не имело никакого значения, как, впрочем, не имело бы значения и его признание в том, что у него есть жена. До отъезда было еще далеко, – оставалось девять дней, – и потому размышления о будущем представлялись Энн историей без продолжения, легкомыслием и расточительством. Это была лишенная всякой скромности, крикливая и вызывающая роскошь – отголосок той эпохи, когда все экономили, когда ради будущего забывали о счастье, когда богачи купались в золоте и, не имея других забот, могли позволить себе думать о завтрашнем дне. Это была забота о кубышке.

– Знаешь, Жак, с тех пор, как я впервые прочитала «Стрекозу и муравья», меня всегда поражала одна вещь. . .

– Что именно?

– Прошло уже столько времени, а стрекозы поют и по сей день. Мы усвоили из басни ложную мораль, а истинная звучит иначе: стрекозы поют всегда. Они отвечают муравьям гордо

и смело, продолжая петь. Когда я была маленькой, мне это сразу же показалось очень важным и тем более значительным, что взрослые старательно замалчивали этот вопрос. Стрекозы продолжают петь – это и есть истинная мораль басни. Так что, уезжаешь ты или нет. . . Думать только о настоящем – вот единственный способ быть предусмотрительным. . .

– Стрекозы правы. К тому же, Средиземноморье как нельзя лучше подходит для них и их морали. Именно поэтому они поют здесь лучше, чем в других местах. Все остальное намного севернее.

Она попыталась задержать его руку, но он был прав: все остальное было намного севернее, там, откуда, несомненно, пришло выражение «хранить холодную голову». Покачиваясь на волнах тишины, ощущая у своих ног свернувшийся в клубок мир, они надолго замерли в счастливой неподвижности мгновений, которым смертельно надоело заканчиваться. Он думал о том, что было потеряно в сражениях, и о том, что теперь вновь обретал живым, победившим и невредимым в этом теле, прижавшемся к нему, в этом легком дыхании, отрицавшем закон тяготения, в этой гавани под мышкой, где заканчиваются все искания и где все воздается сполна. А этот волшебный, изменчивый рисунок губ, подобный волне, застывшей налету!.. О те, кого мы заключаем в объятия! Это говорит человек, воплощение человеческой суетности, шутовства, ярости и отчаяния. Тот, который познал братство сражавшихся за правое дело и ничего не узнал, тот, который познал женщин и ничего не узнал, тот, который познал материнскую любовь и ничего не узнал, но который наконец встретил тебя и встретил все. Вот так, на моих глазах возник мир для двоих. И как это странно – быть зрелым человеком, который получает наконец-то свой первый урок, открывает для себя женскую руку, женскую походку, женские ноги, которые что-то отдают земле, каждый раз прикасаясь к ней, а это чудо женских рук, лежащих вдоль тела: какая потрясающая идея – сложить их таким образом! Словом, все впервые. И вчера вечером, стоя у окна, разве я мог подумать, что с каждым поцелуем твоей руки можно вобрать в себя средиземноморскую ночь со всеми ее ароматами? Здесь закончилась моя бродячая жизнь. Подвинься ближе. Да, я знаю, что ты не можешь, и все же подвинься. Еще немножко. . . Ну вот. Ничего, потом отдышимся. Вот так,

Жак. . .

Не зови меня. Не называй моего имени, а то подумают, что нас двое.

Он попытался вспомнить, что говорил Горький о грустных клоунах, потому что сказанное или не сказанное Горьким не имело никакого значения, ибо он также написал, что любовь – это непостижимость человека с позиций законов природы.

– Почему ты смеешься?

– Этого требует важность момента.

В середине ночи он зажег свет. Она выглядела такой крошечной: все, казалось, умещалось в ее темных волосах. В их тепле дремали глаза, нос, губы, подбородок, ухо.

Ему хотелось по очереди брать их и, как цыплят, подносить к своему лицу, прикасаться к ним щекой, а потом класть на место в гнездо, не тревожа при этом их мать.

На рассвете он снова проснулся, улыбнулся ей и опустил голову, как делал это человек с незапамятных времен, прижимаясь лбом к тому, что любил больше всего на свете.

XVI

Через полуоткрытые ставни виднелись оливы с шелестящими на ветру кронами. Их серебристые листья напоминали сардинки, которые когда-то давно, на Сицилии, трепыхались в отцовской сетке на дне лодки. Голубое небо было начисто выметено мистралем.

Они проникли на виллу, взломав замок. Табличка перед домом предлагала обращаться в агентство по торговле недвижимостью, а это значило, что в настоящий момент тут никого не было. Вилла располагалась просто превосходно, как раз напротив любовного гнездышка голубков. Дело было серьезным, пошел как-никак четвертый день. Тут пахло большими деньгами: она – звезда Голливуда, замужем, светловолосый тип без руки – по всей видимости, тоже из мира кино, каскадер. Наверное, он потерял руку на съемках. Отчаянный парень, по лицу было видно. Впервые после депортации Сопрано подвернулась возможность заработать приличные деньги, может быть, даже пожизненную ренту – тысячи две долларов в месяц. Именно такую сумму он собирался потребовать за свою работу с господина Боше. При встрече в Ницце он скажет ему: «Дело сделано, мы избавили вас от парня».

Барон сидел в полумраке в глубине комнаты между японской ширмой и туалетным столиком, заставленным всевозможными флакончиками и пудреницами. На шее у него висел бинокль. Время от времени он подносил его к глазам, направляя то на дом влюбленных, то в небо. Он вглядывался в него долго и внимательно, словно искал в необъятной синеве что-то или кого-то. Сопрано встретил его на дороге неподалеку от Рима, и барон сразу же произвел на него неизгладимое впечатление. Он шагал босиком по Аппиевой дороге; то был святой год, и Сопрано сначала подумал, что барон совершал паломничество: босые паломники встречались часто, особенно в святой год. Есть люди, готовые на все ради того, чтобы их заметили. Но у него, скорее всего, просто украли башмаки; он был пьян в стельку и совершенно не способен постоять за себя. Сопрано еще никогда не видел человека в такой степени опьянения.

Однако очень скоро он вынужден был признать, что это далеко не так. Что тут было на самом деле, ему так и не удалось узнать, и от этого его интерес к барону вырос еще больше. Сопрано взял его с собой и с тех пор заботливо ухаживал за ним. Он был уверен, что рано или поздно барон выйдет из состояния оцепенения и тогда расскажет ему все. С ним должна была быть связана какая-то необычная история, какая-то важная тайна. Возможно, он расскажет нечто такое, что в корне изменит всю его судьбу. Временами Сопрано полагал, что причина его привязанности к барону кроется в другом: он настолько привык к своему ремеслу телохранителя, что теперь ему обязательно нужно было кого-нибудь охранять. А после того, как врач ясно дал понять, что ему следовало бы больше следить за собой и что даже антибиотики теперь не вылечат его, а лишь замедлят течение последней стадии болезни, он испытывал острую потребность верить в кого-нибудь.

Ему не удалось установить личность того, кого он сразу же прозвал *il barone*. Он так и не выяснил, кем он был, откуда, что привело его в это состояние. Единственной зацепкой, которую нашел Сопрано, была фотография, вырезанная из газеты. Ее качество оставляло желать лучшего, на ней барон был моложе, но узнать его можно было без труда: все тот же оцепенелый вид, тот же отсутствующий, неподвижный взгляд, та же приподнятая бровь. К несчастью, статья, иллюстрацией к которой служил снимок, была оторвана. Сохранилось только несколько слов, и Сопрано постоянно размышлял над тем, что они могли означать:

«военный преступник», «лагерь смерти», потом «одна из самых заметных фигур нашего времени» и, наконец, «истинная песнь любви, ода человеческому достоинству». Все остальное было оторвано, оставались только эти фразы под удивленной физиономией барона. Вот и пойми тут что-нибудь. Барон с одинаковым успехом мог быть военным преступником или героем Сопротивления, святым или негодяем, жертвой или палачом. А может, он был ими всеми одновременно. Поди разберись.

К тому же, в том состоянии, в котором находился этот бедняга, у него не было ни малейшего шанса выкрутиться. Он был беззащитен. Сначала, должно быть, из него сделали начальника лагеря смерти, потом – героя Сопротивления, или наоборот. Сначала – подонка, потом – святого, или наоборот. В данном случае порядок не имел никакого значения. Барон тут бессилён. Можно было даже предположить, что он погиб как герой, а потом воскрес в облике негодяя. Кажется, такое случается, это называется реинкарнацией. Иногда не нужно даже умирать, чтобы перейти из одной ипостаси в другую. Из жертвы стать палачом или наоборот.

Однако несколько дней назад всплыла новая деталь: страница, вырванная из дамского журнала, которую нашли в кармане барона незнакомые люди в Ницце. А может, они сами подсунули ее ради смеха. Сопрано достал из кармана сложенную страницу и развернул ее. «*Малый словарь великих влюбленных. Холдерлин Фредерик (1770-1843). Он жаждал абсолютной, чистой, глубокой, прекрасной любви, которая превосходила своим величием саму жизнь. . .*» Сопрано поскреб заросшую щетиной щеку и покосился на своего приятеля. Невежливо. О какой любви могла идти речь? Чтобы ввергнуть барона в такое оцепенение, любовь должна быть поистине грандиозной. Были такие люди, которые сходили с ума из любви к Богу, человечеству, борьбе, той, что – как это принято говорить – за правое дело.

Барон сидел совершенно неподвижно, положив обе руки на колени. Его голова, правда, слегка покачивалась, а надутые щеки полыхали багрянцем; Сопрано вдруг показалось, что барон с трудом сдерживает смех и вот-вот разразится гомерическим хохотом. Но это было лишь мимолетное впечатление. Поди разберись. Несомненно, он был хорошим человеком. С ним случилось несчастье, но он, несомненно, принадлежал к благородному сословию. Должно быть, это и привело его в такое состояние: нужно было жить, а жить в подобных условиях он не мог. За бароном приходилось ухаживать, как за малым ребенком. Он сам умывался, одевался и ел, но подтирать задницу отказывался, несомненно, по причине своего благородства. У аристократии всегда была многочисленная прислуга, которая обеспечивала ее существование и позволяла господам полностью посвятить себя высоким материям. Случалось, Сопрано выходил из себя и награждал барона оплеухами, чтобы заставить его спуститься на бrenную землю и нарушить молчание, но все было напрасно: барон воспринимал оплеухи с той же отстраненностью и безразличием, как если бы они были неотъемлемым атрибутом человеческой физиономии. Кроме того, Сопрано постоянно казалось, что за маской непроницаемости он скрывает душащий его смех, некое истинное откровение, суть всей своей истории, хотя вряд ли кто мог сказать, какой именно. Иногда Сопрано задавался вопросом, а существует ли барон на самом деле, не является ли он симптомом болезни, которую Сопрано подцепил еще и молодости, и которая могла, поговаривали, иметь на последней стадии развития самые неожиданные проявления. В конце концов, объяснение давала, вероятно, страница, вырванная из «Словаря великих влюбленных». «Он жаждал абсолютной, чистой, глубокой, прекрасной любви, которая превосходила своим величием саму жизнь. . .» Должно быть, барона выбила из колеи какая-то шлюха. Да, скорее всего, тут не обошлось без любовной истории.

Сопрано повернулся к маленькому розовому домику, обсаженному мимозами. Иногда течение его мыслей прерывали паузы, и тогда он слышал в ушах странный свист и видел себя,

босоногого, стоящим в куче еще живой рыбы, в которой трепыхалась и подпрыгивала серебряная сардинка. Он вытащил из кобуры револьвер и большим пальцем провернул барабан. Этот привычный жест всегда помогал ему взять себя в руки. Второй револьвер лежал в туалетном несессере барона. Потом они перейдут итальянскую границу: до нее было всего несколько минут ходу. Но сначала надо будет отправиться в Ниццу, повидаться с господином Боше.

XVII

Крушение привычного имиджа пугало Вилли больше, чем что-либо другое: иногда даже возникали моменты, когда желание знать, что Энн счастлива, становилось, в своей очевидности, настоящим вызовом его таланту. После стольких лет напряженного труда и несомненного успеха в роли Вилли Боше перенести это было нелегко – казалось, будто рушится творение всей его жизни. Любой ценой ему следовало взять себя в руки и сохранить свой имидж. Для начала нужно устроить оргию, а потом будет видно. Он наполовину опустошил бутылку коньяка, закурил сигару и позвонил в Париж малышке Мур. Эту англичанку он обнаружил в ресторане «Лайонз» на Пиккадили в один из свободных дней, когда от скуки ему захотелось найти какое-нибудь новое лицо. Через сутки сообщение о том, что он собирается снимать «Ромео и Джульетту» с официанткой из «Лайонз» в главной роли, появилось во всех газетах, что выявило рекламные возможности проекта и сразу же заинтересовало продюсеров. Вилли был весьма удивлен таким поворотом событий, поскольку вовсе не собирался снимать фильм, он лишь хотел установить контакт с прессой, чтобы посмотреть на ее реакцию. Реакция была что надо. Он не скрывал своей досады оттого, что пришлось подписать контракты и приступить к съемкам фильма. Впрочем, малышка Мур со своим несчастным видом выглядела весьма трогательно в главной роли, хотя ей не хватало той безграничной глупости, без которой трудно было сыграть хорошую Джульетту. Было очевидно, что нормальная женщина не могла сыграть роль так, как это удавалось гомосексуалисту во времена Шекспира, однако малышка Мур не ударила в грязь лицом. Теперь Вилли держал ее на контракте и недавно одолжил – за сумму, вчетверо превышавшую ту, что он ей платил, разница оседала у него в кармане – для участия в фильме, который снимался в Монте-Карло. Монтаж «Ромео и Джульетты» закончился три недели тому назад.

– Привет, Айрис. Это Вилли. Нет, мы не уехали. Меня задержал один проект, так, сироп, который может влететь в копеечку. Полная чушь, но публике нужны чувства. Я еще не уверен, что из этого что-нибудь получится. Ты можешь приехать в Ниццу на ночь?

– Конечно, Вилли, если вам это нужно. Я пообещала Теренсу поужинать с ним, но если я вам действительно нужна. . .

– Ты спишь с Теренсом?

– Вы же знаете, что нет.

– Так в чем дело, давай. Он хороший парень.

– Трудно понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно, Вилли. Но вы знаете, что ради вас я готова на все.

– Неужели? – испытывая отвращение, спросил Вилли. – В любом случае вечером жду тебя здесь. Скорее всего, я вернусь поздно, поэтому ложись в постель без меня. Ах да, чуть не забыл: захвати с собой подружку.

– Что?

– Я сказал: возьми с собой подружку. Мы будем втроем. Тебе все ясно?

– Но, Вилли. . .

– Поищи кого-нибудь среди статисток. Скажешь, что это для меня.

Он положил трубку и подошел к зеркалу, чтобы взглянуть на себя, прежде чем спуститься вниз. Широкополая белая шляпа – настоящий техасский стетсон, сигара в уголке рта, недовольная гримаса, подчеркивавшая его знаменитую ямочку на подбородке, отвлеченный

взгляд, хорошо сочетавшийся с капризным изгибом губ, черное пальто, небрежно наброшенное на плечи, белый костюм, розовый галстук, массивная фигура боксера – все было в полном порядке.

Вилли спустился в холл. Едва он вышел из лифта, как три репортера поднялись из кресел и устремились к нему. Одного из них, француза, Вилли знал, тот регулярно спрашивал у него, что он думает о Хичкоке и Говарде Хоксе. Двое других были американцами и появились здесь явно не случайно. «Сукин сын Росс», – подумал Вилли. В любом случае история с болезнью не пройдет, нужно было придумать что-нибудь другое.

– Привет, Вилли. Пару часов назад говорили, что вы чуть ли не при смерти.

– Сожалею, парни, но у меня нет для вас ничего интересного, – сказал Вилли.

– В чем причина задержки вашего отъезда? Мисс Гарантье покинула отель три дня тому назад, и никто не знает, где она находится.

Вилли достал сигару изо рта, но изгиб его губ от этого ничуть не изменился.

– Сейчас я вам все объясню. Мне нравится конкуренция. Я всегда любил дух состязательности. Поэтому я решил продлить пребывание моей жены во Франции, чтобы дать шанс Али Хану, Рубирозе, Анелли и всем тем, кто считает себя абсолютным чемпионом-соблазнителем.

Репортеры вежливо рассмеялись, но Вилли знал, что так просто он от них не отделается. Если не бросить им подходящую кость, эти типы будут следовать за ним по пятам до тех пор, пока не найдут Энн, и тогда всему придет конец.

– А если серьезно, Вилли, что произошло?

Вилли улыбался. Он чувствовал себя загнанным в угол, но знал, что в конце концов что-нибудь придумает. Он всегда придумывал. Ответ должен быть невероятным, крайне шокирующим, достойным его репутации. Только так он сможет выкрутиться и в то же время сохранить свой имидж.

– Я скажу вам, ребята. . .

И, конечно же, он придумал. Мысль пришла к нему совершенно естественно, как благословение небес.

– Накануне отъезда я еще раз просмотрел «Ромео и Джульетту». Мисс Мур обладает незаурядным талантом, по ей не хватает той абсолютной наивности, без которой не может быть Джульетты. Я всю ночь размышлял над фильмом, и меня наконец озарило. Я нашел новую интерпретацию образа и принял важное решение.

Он мастерски выдержал паузу.

– Я решил вырезать из фильма все сцены, в которых занята мисс Мур. То же самое касается и роли Ромео. В общем, я решил переделать фильм в духе нашего времени. Сегодня Ромео был бы молодым буржуа-идеалистом, юным интеллектуалом левого толка, мечтающим о справедливости и мире. Преодолевая трудности, он наконец находит совершенство там, где только и можно найти его на этом свете – в образе прекрасной юной девушки, чистой и девственной. Вот, господа, «Ромео и Джульетта» нашего времени.

Вилли смотрел на журналистов, которые после минутного замешательства, вызванного этой потрясающей новостью, уставились на него с почтением, достойным лучшего представителя Голливуда.

– Кого вы предполагаете взять на главные роли?

– Еще не знаю. Это сложный вопрос. Ветераны испанских Интернациональных бригад слишком стары, так же, как и молодые коммунисты, истерзанные германо-советским пактом и сталинскими репрессиями. Вероятно, буду искать какого-нибудь подростка из Будапешта или Праги, отец которого был повешен. В общем, вы улавливаете идею, Фильм в духе нашего времени.

Он задумался, подняв руку с сигарой и устремив глаза в небо. . .

– Джульетта, или социализм с человеческим лицом, и Ромео, ее вечный поклонник. . .

Журналисты с минуту молчали. Потом француз задал вопрос местного значения:

– Месье Боше, собираетесь ли вы принять участие в карнавальных торжествах в Ницце?

Вилли рассмеялся.

– Я всю жизнь только этим и занимаюсь. И я счастлив, что деньги израсходованы на конфетты и танцы, а не на пушки и снаряды.

Последняя фраза должна была подчеркнуть его неопределенную репутацию человека левых взглядов.

Он смотрел на журналистов взглядом человека, полностью контролирующего ситуацию. Крошке Мур придется пережить сильнейший шок в своей жизни, и это как нельзя лучше отвечало его имиджу. Впрочем, он вовсе не собирался вырезать ее из фильма, через день-два надо будет собрать пресс-конференцию и объяснить, что это заявление было сделано смеха ради, чтобы поиронизировать над проникновением идеологии во все формы искусства.

– Как поживает клочок лазурного берега, заgrimированный под Вилли Боше? – произнес рядом чей-то голос.

Вилли обернулся: перед ним, держа руки в карманах черного пальто, стоял Бебдерн. В его облике было нечто от немецкого экспрессионизма, и это нечто делало его похожим на казненного еврея.

– На площади Пайон работает ярмарка, – сказал Бебдерн. – Мы могли бы пойти покататься на карусели. Вы читали сегодняшние газеты? Тысячи убитых в Корее, не меньше в Индокитае. И это только цветочки.

Маленький человечек вызвал у Вилли настоящий прилив нежности.

Он взял его за руку.

– Пойдем, милейший.

Они провели на карусели целый час, и Вилли почти удалось отвлечься и забыть об Энн, но, когда карусель останавливалась, тревожные мысли снова были тут как тут. Фотографы следовали за ними по пятам, и снимок Вилли Боше, сидящего верхом на розовой деревянной лошадке и улыбающегося своей легендарной улыбкой, спустя год появился на обложке книги, посвященной ему Стэнли Робаком. После этого они отправились в «Карессу». Ла Марн выбрал «Карессу» специально для Вилли, посчитав, что тому понравится это название. Вилли добросовестно напивался, но начинал чувствовать, что для полного успеха ему понадобится посторонняя помощь, помощь некоего всемогущего и всеильного Сопрано, тайного властелина мира, способного распознать настоящих сукиных сынов в этой огромной куче дерьма.

– Вот что я скажу, милейший, – орал он. – Гёте был обманщиком. История про Фауста – сплошное вранье. А истина заключается в том, что нет никакого дьявола, готового купить вашу душу. Нет покупателя. Нет дьявола, нет властелина мира. Есть только сволочи – самозванцы голливудского типа, окопавшиеся в Кремле и других местах. Некому покупать вашу душу, которая не стоит даже ломаного гроша. Покупатель существует только в мире Голливуда, на цветной киноплёнке. Я сниму фильм на эту тему: «Обманщик Гёте» или «Правда про Фауста». Нет никакого демона-спасителя. Нельзя отправляться за такой добычей в леса детства!

Он невольно вспомнил волшебное заклинание, которому его научила мать:

Тир-тири-лир, тир-тири-лы,
Яблочко красное, лист бузины,
Жду я вас в гости, есть у меня

Рыжая белка ценой в три рубля,
 Слово заветное старой совы,
 Кроличья лапка, хвост и усы,
 Кошкины ушки на мягкой подушке,
 Два краснокожих на раскладушке,
 Один негритенок на толстой пчеле,
 Старая дама на помеле.
 А теперь, кто знает счет,
 По-английски всех сочтет:
 Раз, два, три, четыре:
Первый кто? Конечно Вилли.

- Что? – испуганно спросил Бебдерн. – Это еще что такое?
- Моя задница, – спохватившись, быстро ответил Вилли, чтобы сохранить лицо.
- Это хорошо, – удовлетворенно ответил Бебдерн.

Обход баров продолжался до полуночи, и в конце концов Вилли заметил, что где-то поменял брюки: те, что теперь на нем были, совсем не подходили ему по размеру. Всемогуший Сопрано, властелин мира, способный исполнить самые сокровенные мечты, к этому моменту так и не появился, зато им составляли компанию две потаскухи, одна из которых казалась просто красавицей, когда удавалось отличить ее от другой, и щедушный молодой человек, которого Вилли тут же, при всех присутствующих в баре, захотел взять на роль Джульетты только для того, чтобы доказать, что между ним и Энн все было кончено. В это время Ла Марн объяснял одной из потаскух, – другой, собственно говоря, и не было, – что это хорошо известный процесс, и что есть коммунисты, которые становятся ярыми антикоммунистами, переходят на другую сторону баррикады и устраиваются на службу в ЦРУ только по причине любовных терзаний. Избавившись от девки и хилого юноши, они перешли в другое заведение, но и там все было то же самое: над головами все так же лежала крышка и они все так же варились в собственном соку. В какой бы дансинг они ни заходили, оркестранты узнавали Вилли и исполняли мелодию из его последнего фильма. В конце концов, он подошел к одному из музыкантов, схватил его за галстук и стал трясти, как соломенное чучело.

– Дерьмо собачье! Если вы хотите приветствовать Вилли Боше, который снял «Дон Кихота» и «Сон в летнюю ночь» то только не этой паршивой мелодией. Играйте Баха, Моцарта. Бетховена!

– Но, месье Боше, это же ваш величайший успех! – пролепетал скрипач, имевший весьма отдаленное представление о тщеславии, судить о котором он мог с высоты своей крохотной мансарды.

Их попросили покинуть заведение, и они оказались под арками площади Массена среди участников карнавального шествия. Поддерживая друг друга, они дотащились до ярмарки и заглянули в палатку борцов. На ринге двое горилл мерялись силой: того, что был в белом трико, звали Благородный Джо, другого – в красном – звали Черный Зверь. Запрещенными ударами он постоянно отправлял Благородного Джо на ковер, и Бебдерн, немедленно ставший на сторону благородства и порядка, попытался укунить Зверя за икру, вопя, что это схватка века, социализм с человеческим лицом против уродливого сталинизма, свободный мир против тоталитарного рабства, и, после завершения боя, когда Черный Зверь спускался с ринга, попытался ударить его стулом. Их разняли, и Черный Зверь, который был любовником Благородного Джо, пригласил их выпить, после чего они снова оказались на улице в карнавальной толпе, поражающей Ла Марна своей беспечностью, тогда как корейский конфликт, ядерная

бомба и готовые к войне советские дивизии поставили мир на грань катастрофы.

– Черт возьми, – чертыхнулся Вилли, всегда немного трезвевший при виде звездного неба.
– Я совсем забыл про двух крошек, которые ждут меня в моей постели. Пошли. Вы сможете остаться в комнате и посмотреть.

Он потащил Бебдерна за собой.

– Дорогой кусочек лазури! – орал Бебдерн. – У вас ничего не получится! Выбраться отсюда нет никакой возможности, кругом одна чистота и звезды. Чистота поймала нас в свои сети. Мучительное стремление к чему-нибудь, серенады души при лунном свете, рука на сердце в погоне за мечтой! Господи, сделай меня грязным!

Он упал на колени посреди улицы, но на пешеходной дорожке, ибо был не столь пьян, как это могло показаться.

– Господи, научи нас жить грязными и счастливыми! Спаси нас от искушения голубым, розовым, нежной любовью и чистотой!

Такси сигналили вовсю, но Ла Марн не сходил с пешеходного перехода – как всегда, право было на его стороне.

– Люди на земле – все равно, что птицы, взмахивающие крыльями! – заявил он полицейскому, который пытался заставить его освободить дорогу. – Они машут крыльями, но никак не могут взлететь! А когда взлетают, то сворачивают себе шею!

В конце концов Вилли удалось затащить его на тротуар и впихнуть в такси. Они поехали в отель.

– Мисс Мур поднялась в ваши апартаменты, месье Боше, – доложил портье. – Полагаю, я поступил правильно, впустив ее.

– Она была одна?

– Ее сопровождала молодая женщина, месье.

– Хорошо, ведь нас, понимаете ли, тоже двое.

– Я понимаю, месье Боше. . . – по губам портье скользнула улыбка. – Конечно, это нужно для поддержания вашей репутации.

Вилли ожидал, что взгляд портье отразит хоть какое-то почтение к его хорошо известному цинизму, но увидел лишь безмятежность старого пастуха, давно привыкшего к печальному бляению ягнят. Как правило, люди не упрощали ему жизнь. Существовал своего рода заговор с целью помешать им выйти за рамки своей наивности. Добиться этого не удавалось даже заднице в ее самых героических усилиях. На пару секунд он представил себе отвратительную картину мира, преображенного в зеленое пастбище, на котором в манеже сидел маленький Вилли, а Сопрано, превратившийся из телохранителя в няньку, прикалывал бумажные крылышки, к розовым попкам двух ангелочков, одним из которых был сам Вилли, другим – Бебдерн.

– Задница не позволяет опускаться, – заявил тот. – В ней нет идеологии.

Ла Марн испытывал беспредельную тоску по дерьму, словно забыл, когда ел в последний раз.

Портье провел обоих в лифт со всей предупредительностью и заботой, которых, как ему казалось, заслуживало их состояние неустойчивости и болезненной чувствительности. Некоторое время они ездили между первым и седьмым этажами. Наконец портье удалось перехватить их и доставить в апартаменты, где они нашли малышку Мур лежащей в постели с журналом «Вог» в руках и некую блондинку, которой мать, должно быть, одолжила по такому случаю свое вечернее платье. Вилли подошел к крошке Мур и поцеловал ее в лоб.

– Папочка рад видеть свою маленькую голубку, – объявил он. – Представь меня своей подруге.

– Я счастлива познакомиться с вами, – сказала блондинка с сильным ниццским акцентом.

Все это выглядело так невинно, что Ла Марн едва не разрыдался, в то время как Вилли снимал штаны, стоя под люстрой посреди салона. На его красивом лице курчавого ребенка появилось выражение гурмана, которое он обязательно надевал на себя в присутствии фотографов. «Вероятно, он был очаровательным ребенком с мягкими вьющимися кудряшками», – подумал Ла Марн. Внезапно он увидел перед собой картину, являющуюся не чем иным, как порождением белой горячки: в комнате находились дети, собиравшиеся заняться какими-то сексуальными играми, твердо убежденные в том, что это позволит им стать взрослыми. Айрис помогала Вилли раздеться, время от времени она с улыбкой поглядывала на него снизу вверх, и ее лицо светилось абсолютной чистотой – а что еще, кроме невинности и чистоты, может предложить человеческое лицо? Казалось, она играет с какой-то странной куклой. Что касается другой девицы, то она ждала своего момента, стоя на четвереньках с задранной до талии платьем, как велел Вилли. Она была слишком ошарашена всем случившимся, чтобы хоть как-то на это реагировать. Самое неприятное заключалось в том, что она была курчавой блондинкой, и Вилли снова посетило омерзительное видение зеленых пастбищ с бесчисленными овечками. Чтобы как-то развлечься, он даже начал считать их.

Беддерн несколько минут наблюдал за этой детской комнатой, и когда Вилли подал ему знак, приглашая присоединиться к их играм, отскочил в сторону и спрятался за креслом.

– Нет, нет! – выкрикнул он писклявым голосом. – Не трогайте меня!

Вилли с удивлением обернулся к нему.

– У вас ничего не получится! – торжественно заявил Беддерн. – У Гитлера ничего не получилось! У Сталина ничего не получилось! Это никогда не удавалось никакой полиции! Никакой инквизиции, никакому зверству! Оно остается чистым! Его невозможно испачкать! Человеческое лицо всегда остается чистым!

– Нет, вы только посмотрите, – сказал Вилли. – Вы когда-нибудь такое видели? Это просто отвратительно, верно?

– Люди на земле подобны птицам, громко хлопающим крыльями! – вопил Ла Марн, граф Беддерн, герцог д'Аушвиц. – Сейчас я слышу шелест ваших жалких крыльев, Вилли, вот так! Это глухой, скорбный и невнятный шум, но именно в этом и заключается его красота!

Блондинка смотрела на них с таким ошеломленным видом, словно это она была виновата в срыве мероприятия. Беддерн увидел, как малышка Мур нежно поглаживает Вилли по волосам.

– Хе, хе, хе! – триумфально воскликнул он. – Нежность! Нежность, а значит и чистота! Один-ноль в мою пользу.

– Оставь мои волосы в покое! – заорал Вилли, который почувствовал вокруг себя атмосферу такой невинности, что больше не мог вести себя как мужчина.

– Даже Ивану Грозному, даже гестапо не удалось сделать этого! – продолжал вопить Беддерн. – Ни у гестапо, ни у Сталина, ни у диалектики, ни у Пикассо, ни у одной идеологии, ни у одной дерьмовой кровавой тирании ничего не вышло! Человеческое лицо остается нетронутым, целомудренным, чистым! Нет, бедный маленький Вилли, не тебе с твоей задницей сделать то, что не удалось ни Гитлеру, ни Сталину, ни атомной бомбе, свалившейся на Хиросиму! Оно остается чистым, оно остается прекрасным!

Словно маленький демон чистоты, – другого не было, – Беддерн скакал вокруг кровати, показывая нос Вилли или тому, что он в нем видел. Тем временем несчастная блондинка изо всех сил старалась сделать вид, что опыта ей не занимать, и что она уже не раз видела подобные фокусы на других вечеринках. Вилли казалось, что он с серной спичкой в руках борется против всех демонов невинности. Ему все же удалось войти в блондинку, внешние приличия были соблюдены, а малышка наконец испытала облегчение, ибо поняла, чего от нее

хотят.

– Нет, Вилли, – жужжал, носясь вокруг них, Бебдерн. – Никакого насилия, никакой травли, никаких концентрационных лагерей! Вы думаете, что вам с вашей маленькой задницей удастся чего-нибудь добиться? Вы ничего не докажете!

– Произведение искусства ничего не должно доказывать, – с достоинством заявил Вилли. – Это сказал Андре Жид. А Андре Мальро добавил: «Не страсть уничтожает произведение искусства, а желание что-то доказать!»

Обмякнув, он оторвался от блондинки. И тут ее внезапно осенило: ну конечно, это были экзистенциалисты! Она удивилась, что эта мысль раньше не пришла ей в голову. Догадка настолько успокоила ее, что она тут же заснула.

– Вот видите, – триумфально произнес Бебдерн, указывая на нее пальцем, – она даже положила в рот пальчик, прежде чем заснуть. Вам показывает нос сама невинность.

Постепенно у Вилли возникло такое чувство, что с минуты на минуту должны вернуться их родители и спросить, почему это они до сих пор не спят. Айрис, как пай-девочка, скромно завязывала в узел свои длинные черные волосы, что ж, быть может, нужно поскорее забыть то, чего детство не знает о жизни. Она подвинулась, чтобы Вилли мог лечь рядом.

– Я буду спать на диване в салоне. Я храплю. Пожелай спокойной ночи своему братику. . .

Она поцеловала его в лоб.

– Вилли. . .

– Да?

– Это правда, что ты собираешься вырезать меня из «Джульетты»?

Несмотря ни на что, он был неприятно поражен. Значит, она все знала, но за весь вечер не обмолвилась даже словом. Она улыбалась ему, и на ее лице не было и тени упрека.

– Об этом не может быть и речи. Скорее я сдохну. В этой роли ты просто восхитительна. Я запустил эту утку, чтобы поугагать продюсеров. Они меня уже достали.

Он почувствовал приступ вдохновения. Потом он будет лучше спать.

– Дело в том, что Энн немного ревнует меня к тебе. Она постоянно боится меня потерять. Ты знаешь, какая она. . . – с усталым видом он пожал плечами. – Она жила в постоянном страхе, боясь появления соперницы. . .

«Для одного вечера достаточно», – решил он. Ла Марн смотрел на него с нескрываемым почтением.

– Но тебе нечего опасаться. Этот фильм сделает тебя настоящей звездой. Успокойся.

– Ты можешь сделать это, Вилли. Я не буду на тебя сердиться. Ты можешь делать все, что хочешь. . . Это ничего не изменит. Я так восхищаюсь тобой!

Вилли закрыл глаза. Вершина успеха. Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Ла Марн бросил на него злобный взгляд и вышел в салон. Эта идиотка его обожала! Ничто не могло притушить сияния голливудской славы, никакая мерзость. Она была почти так же сильна, как идеология, каким бы ни было количество трупов. Вилли последовал за ним. Ла Марн дулся на него, и Вилли постучался в дверь номера Гарантье, но тот, должно быть, спал. Вилли не хотелось оставаться одному: он боялся встречи с самим собой, и этот страх не даст ему заснуть.

По коридору шел портье, но он тоже не любил маленького Вилли.

– Опрокинем по стаканчику в баре?

– Месье Боше, я вынужден попросить вас вернуться в номер, в таком виде нельзя находиться в коридоре.

– В чем дело, ведь я в трусах, – сердито проворчал Вилли.

Он вернулся в свой номер. Бебдерн спал, навалившись грудью на стол и спрятав лицо в ладонях. Вилли включил радио – передавали новости с театров военных действий в Индокитае и Корее. Он выключил приемник и проскользнул в спальню. Девочки спали. Разбросав руки, Айрис лежала среди своих черных волос, разметавшихся по подушке. Вилли в нерешительности остановился, но сейчас на него никто не смотрел. Он взял ее за руку, притянул губами к ладони, потом прижал ее к своей щеке. «Энн, – думал он, – Энн...» Он заснул почти мгновенно, и ему снилось, что он парит в небесах.

XVIII

Одеваясь, она напоминала маленького прилежного ребенка, и когда застывала, задумавшись над натянутым чулком, или же, заведя руки за спину, сражалась с застежкой бюстгальтера, или натягивала на бедра колготки, то делала все это основательно и добросовестно, как учила когда-то мама. Он пытался одновременно видеть ее ноги и лицо, лодыжки и плечи, грудь и колени. И он им улыбался, он улыбался ее рукам, шее и пышной шевелюре в то время, как она расхаживала по красным плиткам пола, оставляя влажные следы. Она продолжила одеваться, но выдержать это было выше его сил, он поднялся, и она позволила себя раздеть. . .

Жак. . .

Не зови меня. Не называй моего имени. А то подумают, что нас двое.

Жак, неужели ты уедешь, несмотря ни на что?

Нет, дорогая. Я никуда не еду, все кончено. Я остаюсь здесь, чтобы жить, укрывшись под крылом своего счастья. Я сменю имя, выберу себе другое – имя для мира, имя для жизни, псевдоним для любви, и отныне это будет единственное имя, на которое я буду отзывать, и которое будем знать только мы двое. Если же я замечу, что мне хоть чуть-чуть начинает изменять чувство меры, я, быть может, расскажу тебе, каково это было – на протяжении стольких лет не знать о твоём существовании, напрасно ждать тебя, объяснять, например, как твое отсутствие отравляло мессу Баха и лишало ее всякого смысла. В отсутствие любви мир превращается в отражение кривых зеркал: в музеях любой шедевр выглядит жалкой подделкой. Когда я в одиночку путешествовал по Италии, то столкнулся с хорошо известным явлением: Италия исчезла, и под лучами знойного тосканского солнца я перестал видеть равнину с десятью тысячами оливковых деревьев, я видел лишь десять тысяч следов одиночества. . .

Их взгляды встретились, и, увидев в его глазах немой и страстный призыв, она подошла и склонилась над ним, чтобы лучше слышать то, что он говорил.

– Я верю тебе, – серьезно произнесла она.

– Достаточно быть любимым, и тогда ты сложишь к ногам любящего тебя человека все победы, остававшиеся ранее недостижимыми, и завершишь труд, над которым безуспешно бился всю жизнь. . .

Он даже не знал, до какой степени был смешным.

Энн вздохнула, но она не сердилась на него, ей тоже нравилась эта несбыточная, беспредельная мечта, которую он дарил ей с каждым объятием: теперь она могла держать в руках то, чем никак не удавалось завладеть ему самому. На склонах горы он видел разбросанные там и сям, подобно остаткам еды на праздничном столе, розовые, красные и белые домики, и он закрыл глаза, чтобы осталась только она одна. Она что-то сказала, но он не расслышал, что именно, пробормотал «я тебя люблю» и заснул. Потом он проснулся, и они лежали бок о бок, стараясь не шевелиться, но домики на склонах гор отступали все дальше и дальше, окутанные серо-фиолетовой дымкой, и он вспомнил Бо в вечернюю пору, когда солнце клонится к горизонту и длинные тени хватают все подряд своими жадными лапами, и когда Франция становится похожа на руку, которую держишь в своей руке и не хочешь отпускать.

– Я хочу есть, – сказала Энн.

Она встала, натянула джинсы и свитер, который он дал ей, и он рассмеялся, видя, как его белый пилотский свитер времен битвы за Англию украсился двумя маленькими острыми грудками. Они сели за стол и принялись за колбасу, козий сыр и салат из помидор. Они не

знали, утро сейчас или вечер, первый день или последний. Приоткрывая дверь, они находили на пороге пакет с провизией, но домработницы, предупрежденной соседями, не видели никогда. На полу лежали газеты, которые она подсовывала под дверь, и он пытался отправить их в мусорную корзину, не читая, но заголовки сами бросались в глаза:

«Вмешается ли советская авиация?»

«Опасность третьей мировой войны».

«После блокады Берлина Сталин наносит новый удар».

«Корея: коммунистический натиск усиливается».

«СССР обвиняет Соединенные Штаты в ведении бактериологической войны в Китае и Корее».

«Проголосует ли американский Конгресс за применение ядерного оружия в Корее».

Но реально продолжалось только осадное положение, и он выталкивал мир за порог, захлопывал дверь и возвращался к Энн, туда, где всего хватало. Все остальное было лишь мечтой о власти политических импотентов, вооруженных идеологическими фаллосами. Все остальное – обман. Можно вступить в союз с могучими космическими силами в надежде на жалкое штабное ликование, можно стереть с лица Земли целый континент, треть народа утопить в идеологическом болоте, треть ввергнуть в рабство, треть – в слабоумие, и именно бессилие злобствует в приступах острой эмоциональной недостаточности. . .

– Я куплю словарь арго, чтобы крепче держаться за землю, чтобы не взлететь. . . Ты знаешь, чтобы остаться на земле, нужно трижды произнести «проклятое дерьмо», как трижды произносят «Отче наш», чтобы вознестись на небеса. . .

Она изучала его лицо, с которого, пока он говорил, не сходила улыбка. Он не походил сам на себя. В нем не было ничего от экстремиста в душе, от фанатика. Тонкие черты лица светились добротой и чувством юмора, а лоб под светлыми, чуть тронутыми сединой вьющимися волосами, не омрачали признаки внутренней смуты.

– С тобой трудно понять, когда ты шутишь, а когда говоришь всерьез. . .

– Энн, шутка зачастую является испытанием, которому верующий подвергает свою веру, чтобы она стала крепче, уверенней в себе, чище. . .

– Должно быть, до конца я тебя так никогда и не узнаю, – сказала она. – Тем лучше. Значит, я буду всегда любить тебя впервые. Я никогда не смогу узнать тебя лучше. Ты навсегда останешься для меня все таким же, как в первый раз.

Он закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать ее губы на своих губах, чтобы чувствовать только сладость жизни со вкусом женщины. Мистраль обвевал их, неся с собой аромат мимоз; забылись все неприятности и тревоги того времени, когда тебя не было рядом, милая, и когда я напрасно искал тебя, придумывая другие причины для того, чтобы жить. Мои губы исчезли, растворенные в поцелуях и унесенные ими. Они еще прикасаются к твоей шее, уху, и кто-то вздыхает, не знаю, ты это или я, и этот кто-то – другой, не знаю только, кто из нас двоих. Мы так слились, что я чувствую себя почти одиноким, и даже когда ты шевелишься, я ощущаю не тебя, а то место, где ты заканчиваешься. Моя рука еще лежит на твоей груди, но это не что иное, как забвение. Наши рты еще слиты воедино, но им уже нужны не поцелуи, а воздух. Его несет ночь, напоенная запахами моря, и я жадно пью его, и все же ему не сравниться с тобой. Но я не хочу останавливаться, не хочу отступить. Я не желаю склоняться перед жалкими

границами, воздвигнутыми законами рода, нервами, сердцем, дыханием, почками... Людям не хватает гениальности. Данте, Петрарка, Микеланджело... Осколки мечты! Так что же такое гениальность, если никто не может реализовать ее в крике любимой женщины?

Лицо Ла Марна осунулось, под глазами появились большие мешки, нос стал еще длиннее и печальнее, чем обычно, плечи были усыпаны разноцветными кружочками конфетти. Надвинув на глаза шляпу, чтобы прикрыть глаза от солнца, он с накладным носом в руке лежал на диване в стиле Людовика XV и имел помятый, слегка призрачный вид гуляки, кутившего всю ночь напролет. Гарантье слушал его и одновременно завтракал, сидя у открытого окна.

– Вам нечего бояться, старина, – с оттенком злобы говорил Ла Марн. – Он уедет. Насколько я знаю, он влюбился впервые и потому найдет причину, чтобы оставить ее. Как только человек целиком и полностью оказывается во власти любви, в нем, на мой взгляд, начинает расти ненависть ко всем другим проявлениям тоталитарности. Если ему сказать, что он стал пленником коммунизма, он просто пожмет плечами. Помимо СССР и Китая, сегодня в мире существует своеобразный нематериальный Гулаг, в котором марксизм держит в плену своих врагов «анти» – инакомыслящих. Я считаю, что антикоммунисты являются самыми верными спутниками марксизма-ленинизма. Он принадлежит к числу тех людей, которые хотят наказать идеи, когда они начинают плохо себя вести.

– Что у него за плечами?

– Народный фронт. Леон Блюм, интернациональные бригады, антифашизм в мировом объеме. Свободная Франция. Сопротивление. Эмоциональная пустыня всегда порождает самые прекрасные идеологические оазисы. Тридцать миллионов трупов.

Ла Марн вздохнул. Он взял с тарелки тост, раскрыл его и бросил чайкам. Остатки крошек он отправил в рот.

– Банда негодяев, – мрачно произнес он, и было непонятно, кого он имел в виду, вполне вероятно, это замечание носило общий характер.

– В конце концов, что вы хотите... Вне всяких сомнений, он оставит ее, я не переживу большой любви, вот и все. Полагаю, вы уже поняли, что я живу чужим счастьем.

– Зачастую это врожденное свойство, – заметил Гарантье, – и оно легко диагностируется. Обычно его называют потребностью в братстве.

– Да, это банальная форма эмоционального паразитизма, – подтвердил Ла Марн. – Таким образом, весьма вероятно, что вместо тою, чтобы жить большой любовью – их любовью – и иметь детей – их детей, – вечный слуга Сганарель вновь последует за своим хозяином Дон Жуаном к новым победам над невозможным, в погоню за абсолютом. Он часто цитировал мне Камю: «Я против всех тех, кто считает себя абсолютно правым». Но поскольку он тоже настроен *абсолютно* против них, возникает слишком много абсолюта и полей сражений. Вы же прекрасно понимаете: если мы прикончим Сталина, от этого ничего не изменится, и миллионы людей будут по-прежнему платить своими жизнями за невозможное.

– Тем не менее вы, должно быть, часто с ним об этом говорили?

– Часто. Я напомнил ему, что каждому человеку отведено свое время. На его долю пришлось антифашизм, война в Испании, Сопротивление. Слишком много для одного человека. Пусть что-нибудь останется и другим, жаждущим пожертвовать своей шкурой. Но тут ничего не поделаешь. В ответ слышишь всю ту же фразу Камю: «Я против всех тех, кто считает себя абсолютно правым». Но тогда ему следовало бы быть немного против самого себя...

Ла Марн пожал плечами.

– Словом, никто не знает, чем все кончится. Может быть, ваша очаровательная дочь заставит его отступить от Сталина.

– Вы считаете, что это возможно?

– Не знаю. Лично у меня никогда не было большой любви. Но фашизм и марксизм-ленинизм всегда ошибались, когда делали на это слишком большие ставки. На падение нравов, я имею в виду.

Ла Марн вздохнул. Чайки в ожидании крошек носились над балконом и качались самым воплощением беспокойства и тревоги.

– Да, *Любовь и Запад*, – пробормотал Гарантье. – Но еще нужно принять в расчет пьянство в СССР. Куда ни кинь, везде клин. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы с вами поговорить. Насколько я понял, у моей дочери был телохранитель. . . Признаюсь, я испытываю некоторое беспокойство. . . Одному Богу известно, какие инструкции он мог получить от Вилли. . .

– Я никого не видел, – сказал Ла Марн. – Я несколько часов простоял у них под окном со шляпой в руке в надежде, что мне перепадут какие-нибудь крохи. . . Я никого не видел.

Он поднялся.

– Ну ладно, я пойду к Вилли. Нужно воспользоваться карнавалом. . .

Он нацепил накладной нос.

– Я снова стану Бедерном. Нет ничего более взбадривающего, чем небольшая пауза в вопиющей непрерывности самого себя.

– Бедный Вилли.

– Фу! Такой же клоун, как вы и я.

– Во всяком случае, не слишком обнадеживайте его. Он сердечник.

– Положитесь на меня. У меня нет никаких причин желать его смерти. К тому же, счастливый Вилли – это было бы совсем не смешно.

Гарантье бросал чайкам крошки. На его бледном и спокойном лице даже морщины выглядели хорошо продуманными и расположенными в нужных местах с деликатностью Клее. Его чувствительность воспринималась только на расстоянии. Жизнь обретала форму изысканного политеса, учтивости, которая распространялась абсолютно на все, грубость отступала на всех фронтах: в общем и целом – это Запад. Цивилизация, подвешенная над собственной пустотой, как улыбка Чеширскую Кота.

Гарантье намазывал тост маслом.

– Что касается вашего друга. . . Марксизм совершил ошибку, придав персонажам Лабиша* трагические черты. Тем самым он вырвал их из среды водевиля. Они продолжают терять штаны в присутствии публики, но это ее уже не смешит. Марксизм-ленинизм превратил простых буржуазных рогоносцев в сознательных героев, восставших против своей судьбы. Он харкнул трагедией в душу общества, которое должно было закончить свое существование, погрязнув в пошлятине. Я твердо убежден, что марксизм, отравляя все свои источники наслаждения, был заинтересован в их спасении. И если Ленин не смог спасти царское общество, то только потому, что все произошло слишком быстро – ему не хватило времени. . .

Ла Марн хорошо понимал природу этого равнодушия: в его основе лежал неприрученный страх.

– И как это вы еще не курите опиум, друг мой? – спросил он. – Берегитесь. Чересчур изысканный и тонкий вкус ведет прямо к рубленому бифштексу с горчичным соусом. Именно этим и объясняется объединение нашей элиты с фашизмом и сталинизмом.

Он вышел из отеля, пересек бульвар и купил свежие газеты. Американская авиация находилась в состоянии повышенной боеготовности, а в Корее волны китайских «добровольцев» обрушивались на отступающие подразделения войск ООН. Мир разъедала язва реальности.

*Эжен Лабиш (1815-1888) – французский драматург, автор комедий нравов и водевилей.

Шереметьев написал, что «отсутствие любви могло стать Богом», а Горький – что «любовь – это непостижимость человека с позиций законов природы». Есть от чего свихнуться.

Он сел на скамейку и со стыдом посмотрел на море и небо. Было бы неплохо, если бы каждый год весь мир праздновал день, когда человек просит прощения у природы.

XIX

Он закрыл дом на ключ, и они спустились на двадцать ступеней по улице Пи, прошли мимо фонтана, который пытался скрыть свой легкомысленный вид под достоинством высеченных на нем римских цифр, поднялись по переулку-лестнице, при каждом повороте делавшей им свой каменный реверанс и ступени которой приподнимались, как складки тяжелой драпировки. В нишах над дверями стояли мадонны. Оборачиваясь, Энн видела неотступно следовавший за ними синий взгляд моря, а над ступеньками террас, над виноградниками и апельсиновыми деревьями возвышался замок, которому решительно не хватало величия и который своим видом напоминал не о десяти веках истории, а о десяти веках солнца и лазури.

– Это Гримальди, – сказал Рэнье. – Все замки в этом районе называются Гримальди, а все жители откликаются на имя Эмбер. Так удобнее для иностранцев.

Они проходили мимо булочной. Над входом в магазинчик висел деревянный ангел, похожий на ученика балетной школы. Булочник в белой майке, оставившей открытыми руки, курил сигарету.

– Привет, Эмбер.

– Привет.

Сложив руки под передником, булочник посасывал свой окурочек и с видом знатока хорошего хлеба разглядывал Энн.

– Похоже, что вы нас скоро покидаете?

– Нет, я остаюсь здесь.

– Война закончилась?

– Нет, но одну я пропускаю. Что касается следующих, то там будет видно. Есть, знаете ли, то, что называют пенсией по старости.

– В Индокитае уезжает мой племянник, Пьеро Эмбер.

– Такова жизнь.

– Это не жизнь, – ответил булочник.

Он не сказал, что это, но посмотрел на Рэнье прищуренными глазами, иронично пожевал окурочек, и тем самым все было сказано. Он казался раздосадованным, как любой житель Средиземноморья, который всегда испытывает некую неловкость, плохо отзываясь о жизни, чтобы оправдать собственную глупость. Он выбросил окурочек и подчеркнуто демонстративно скрылся за дверью булочной. Рэнье почувствовал, что тем самым булочник не просто возвращался к своей печи, а в первую очередь выражал решительное нежелание отправляться в Корею, Индокитай или еще куда-нибудь, поскольку Франция была здесь и только здесь.

– Кажется, он не разделяет твою точку зрения, – заметила Энн.

– Люди в этих краях терпеть не могут всякой «борьбы». На нашем монументе павшим уже и так слишком много Эмберов. И потом, здесь у них достаточно хороших конкретных дел, чтобы ни с того ни с сего бросать их и отправляться защищать «идеи» на другом конце света, где ничего не растет.

Они попали в узкий церковный дворик, образованный четырьмя стенами, расположенными так близко друг к другу, что пространство между ними обрело уют жилой комнаты. Слева от паперти перед мозаичной плитой с именами погибших солдат стояли лампада и увядший букет цветов. Вырезанные в камне строки плотно теснились одна к другой, будто освобождали место на будущее. Церковь была вся розовая и выглядела как театральная декорация.

Выросшая вместе с апельсиновыми деревьями и мимозами, она казалась гораздо ближе к Средиземноморью, чем небо. Она так долго простояла среди виноградников, что сама стала ярким земным фруктом, и Энн невольно подумала о миссионерах, которые проводят жизнь среди китайцев и в конце концов обретают такие же раскосые глаза. Рэнье обнял Энн за талию, и они, не чувствуя неловкости, ступили под гулкие своды. Эта церковь все понимала, и любовь не могла быть ей чуждой. Они шагали по каменным плитам среди позолоченных ангелов, святых, свеч и тонких колонн из фальшивого мрамора, но все это не вызывало чувства безвкусицы благодаря царившей под сводами атмосфере счастья. Они подошли к алтарю и замерли. Рэнье ощущал на своих губах волосы Энн, ее шею и веки, и в таком поведении перед алтарем не было ничего предосудительного. Из ризницы бесшумно вышла седая старуха в черном платье, но ее морщинистое лицо светилось таким весельем, которое, безусловно, никогда не посещает ханжей. Под мышкой она несла бельевую корзину со свежесрезанными ветками мимозы. Старуха лукаво посмотрела на пару и, будучи знакомой с Рэнье и зная, что он безбожник, заулыбалась и с нескрываемым удовольствием нарушила ту благоговейность, на которую они не имели права.

– Что, месье Рэнье, гуляем? – намеренно громко крикнула она, тем самым давая понять, что больше не считает себя находящейся в церкви.

Кроме того, она хотела ободрить их, вывести из замешательства и показать этим двоим, что недостаточно войти в церковь, чтобы быть в ней. И пока она по-хозяйски расхаживала перед алтарем, расставляя цветы у ног Спасителя с непринужденностью старой служанки, ставшей почти членом семьи, она шутила с влюбленными, потом достала из корзины несколько веточек мимозы и протянула их Рэнье.

– Для вашей дамы.

– Спасибо, мадам Эмбер.

– Они прекрасны, – сказала Энн. – Но вы уверены, что...

Старуха искоса поглядывала на нее, не скрывая своего удовлетворения ее смущением и замешательством и с удовольствием принимая эту дань застенчивости.

– Берите, берите, у вас дома они тоже будут хорошо смотреться.

– Как поживает месье кюре?

– Не решаюсь сказать. Он носится по округе на мотоцикле, а когда повсюду так много машин, я предпочитаю не говорить, поживает он хорошо или плохо. К тому же, он не умеет ездить медленно.

Старуха снова повернулась к ним и засмеялась.

– Вам следовало бы выйти в сад, – крикнула она. – Там вам будет лучше. Оттуда открывается красивый вид, и там растут апельсиновые деревья.

Это было сказано без тени иронии, просто нужно было, чтобы каждая вещь знала свое место.

– Можно?

– Конечно. Кстати, сад – это собственность коммуны.

Они прошли через ризницу и попали на террасу. Сад был совсем крошечным, он примыкал к стене церкви и казался ее цветущей ветвью. Эта горстка земли бросала вызов горизонту и смеялась над ним. Сюда доносился перестук копыт мулов, отсюда виднелись море и горизонт, раскинувший свои длинные руки, и гора, которая закрывала почти все небо, оставляя лишь маленький голубой клочок, напоминавший кончик уха. Воздух был пропитан свежестью моря и ароматом мимоз, но с тех пор, как Рэнье обосновался в деревне, он настолько привык к нему, что уже не ощущал его вкуса. Но сейчас он чувствовал его в полной мере: присутствие Энн, ее рука в его руке срывали с мира покров обыденности. Снова все было впервые: все

то, к чему привык его взгляд, все то, что уже давно не вызывало никаких эмоций. Любовь к женщине превратила старую семейную жизнь, которую вели его глаза с землей, в новую и молодую связь. Неожиданно ему вновь открылось значение многих поблекших и наполовину стертых привычкой знаков: знака птиц и знака цветов, знака дерева и знака фруктов. Вероятно, обыденность – не что иное, как отсутствие любви. Лопата, кирка и тачка, оставленные под пальмой, словно бы ощущали присутствие Энн и подавали им знаки дружбы, и если даже в этот момент он чувствовал, как в нем растет желание бороться против любых проявлений тоталитаризма, отводящего человеку роль ничего не значащего винтика, то это происходило так, как если бы ему нашептывали слова любви. Праведные небеса, южные небеса, славные небеса Франции, пора покончить с пристрастием к вечным истинам и к окончательным победам, пора научиться воспринимать то, что длится краткое мгновение, и больше не отправляться в погоню за абсолютом во имя зыбких идеалов. Пора освободиться от других, пора перестать превращать свою радость в угрызение совести, а счастье – в чувство виновности. Цивилизация, достойная человека, всегда будет чувствовать свою вину по отношению к нему, и узнать ее можно именно по этому признаку. Праведные небеса, добрые небеса, милые небеса Франции, небеса Монтеня и белого хлеба, разве больше нельзя быть счастливым в своем краю и не вдыхать заразу, которую несет с собой ветер чужбины и примешивает к радости, которой мы дышим? Но разве можно перестать защищать свое право жить не по чужой указке и свободно изъяслять свою волю, как эти французские деревни, которые постепенно возникают там, где это приятно глазу?

Появился садовник в высокой провинциальной соломенной шляпе. Он поднял тачку и укатил ее, даже не взглянув на целующуюся пару, словно она была неотъемлемой частью давно знакомого ему пейзажа.

– Пойдем домой. Здесь слишком много народа. . .

Они прошли через церковь, которая при спрятавшемся солнце выглядела еще более одинокой.

Две монахини в больших белых головных уборах стояли, преклонив колена, перед алтарем и сосредоточенно перебирали четки, не замечая ничего вокруг. На сей раз влюбленным и вправду показалось, что они не существуют, и что на земле есть только одна любовь, но не их.

Тишина провела их до порога церкви и осталась с ними.

Рэнье шел быстрым шагом, чтобы поскорее оказаться в месте, которое можно заполнить вдвоем, в уголке, соизмеримом с масштабом человека, без потустороннего мира, без раскинутых рук горизонта, в месте, которого вполне достаточно для двоих. Они поднялись по ступенькам и закрыли за собой дверь на ключ, хотя нет такого потустороннего мира, который мог бы остаться за порогом запертой двери. Рэнье подошел к открытому окну: горизонт был на месте и, конечно, все так же раскидывал руки, готовый заключить вас в свои объятия. Он закрыл ставни и задернул шторы. Энн пошла на кухню за корзиной с провизией и, на мгновение остановившись у окна, посмотрела на гору, напоминавшую буйвола, опустившего голову к морю, чтобы утолить жажду, и на последних ласточек, носившихся над вершинами сосен, силуэты которых ощетинились иголками, словно спины диких зверей вздыбленной шерстью. Она родит от него сына и, быть может, когда ему исполнится двадцать лет, возможное и невозможное закончат свои смертельные схватки, и тогда она сможет его сохранить, как не смогла сохранить отца. Он был человеком, который превращал все, что любил, в повод бросить его, который жил не во имя того, что любил, а ради того, что ненавидел. Она рассмеялась. Это довольно смешно, когда твоим соперником является человечество. Она вернулась в комнату и стала наблюдать за Рэнье: улыбающийся, узкобедный, он расхаживал в сандалиях по крас-

ным плиткам пола, накрывал на стол и орал в руки еще горячий хлеб, чтобы насладиться его воздушностью и услышать хруст румяной корочки.

– Ну вот. Все готово.

Он налил вина, и они сели за стол. «Дверь заперта, стены толстые, я никуда не еду, я остаюсь здесь. Она родит мне сына, и я научу его любить этот край, чтобы он отсюда не уезжал, и куплю ему виноградник, чтобы он знал: здесь есть то, что принадлежит ему».

XX

В одиннадцать часов утра приехал Росс, представитель студии во Франции. Он застал Вилли валявшимся в постели в ярко-красной пижаме, которая еще больше подчеркивала его одутловатое мрачное лицо. Вилли хрустел апельсиновым печеньем и запивал его шампанским.

– Что случилось?

– А что, по-вашему, должно случиться? Выпейте-ка шампанского.

– Вилли, происходит что-то неладное. Эта задержка ежедневно обходится студии в двадцать тысяч долларов. Никто не требует от вас правды. Всем известно, что ее от вас не дождешься. Но попытайтесь приблизиться к ней настолько, насколько это возможно, не заболев при этом от такого подвига.

Вилли слабо пошевелился в постели. После сна он всегда чувствовал себя безоружным. Это был момент, когда ему не хватало вдохновения, и от него можно было ждать уж если не искренности, то, по меньшей мере, недостаточной убедительности во вранье. Как и Фрэнк Синатра, он никогда не соглашался начинать съемки до полудня. Он знал, что не владел своим лицом, своей знаменитой улыбкой и голосом; и, весь обрюзглый, лежал в постели во власти безжалостной реальности, словно огромный комплекс неполноценности, видимый невооруженным взглядом.

– Ну хорошо, Макси. Но я советую вам держать секрет при себе еще хотя бы несколько дней. Я пытаюсь решить проблему.

– Итак?

– Энн отказывается возвращаться.

– Почему?

– Она ревнует меня. Я переспал с крошкой Мур, и она узнала об этом.

Росс внимательно смотрел на него. Он даже надел очки. Он был рыжим, как апельсиновое печенье, которое жрал Вилли.

– Я не верю ни одному вашему слову, – сказал Росс. – Вы изменяете ей не первый раз, и она никогда не устраивала скандалов. Это мы сделали из вас идеальную пару. Реклама обошлась нам в целое состояние.

– Это еще не все, – произнес Вилли.

Он боялся перегнуть палку. Россу было шестьдесят лет, и он знал их всех, от Орсона Уэллса до Эррол Флинн, от Эрика фон Страхайма до Микки Руни.

– Конечно, есть и другая причина. Ей надоело видеть, как руководство студии обращается со мной. Я не смог снять ни один из моих фильмов с Энн в главной роли. Она вышла за меня не ради моих красивых глаз, и вы это знаете. Ее внимание ко мне было привлечено тем, что написала о моих двух первых фильмах пресса всего мира: это гениально. Дайте ей гарантию, что вы позволите мне снимать «Американскую ночь» с Энн в роли Сабины, и через два дня она будет в Голливуде.

– Вы обошлись фирме в три миллиона долларов, – заявил Росс. – Мы намеренно выбросили эти деньги на ветер, чтобы все знали: гений работает на нас, но эти времена прошли. Десять лет тому назад еще можно было позволить себе роскошь снимать престижные фильмы, но только не сегодня. Вы что-нибудь слышали о телевидении?

«Он блефует», – подумал Вилли.

– Я думал, вы хотели знать, почему Энн отказывается возвращаться.

– Вы действительно хотите, чтобы я рассказал на студии о вашей жалкой попытке шантажа? – спросил Росс. – Вы мне нравитесь. До некоторой степени я восхищаюсь вами. Вы напоминаете мне мир, которого вы сами даже не знали. Эпоху настоящего кинематографа, Вилли. Тогда это не было блефом – или, если хотите, это был *настоящий* блеф, абсолютный, всемогущий, который управлял толпой по своему усмотрению. С тех пор только Муссолини, Гитлеру и Сталину удалось придать блефу такую мощь. После Сесила Б. Де Милла только Сталин способен манипулировать массами, пуская пыль в глаза всему миру. Поэтому вы внушаете мне определенную ностальгическую симпатию. У вас хорошая школа. Но знаете, что думают об этом на студии?

«Он блефует, он блефует, – с облегчением думал Вилли. – Вот это настоящий талант».

– Вас бы уже давно вышвырнули за дверь, если бы не Энн. Из-за нее боссы вынуждены нянчиться с вами, но, конечно, всему есть предел. И вот эту черту вы сейчас собираетесь переступить. Они больше никогда не позволят вам подняться на съемочную площадку в качестве общепризнанного гения, *not on your sweet life*. Так что бросьте эти ваши штучки. Прекратите давить на Энн и складывайте чемоданы.

«Рыба заглотнула наживку и теперь крепко сидит на крючке», – решил Вилли. Теперь он мог позволить себе – так, из любви к искусству – кое-какие вольности.

– Скажите им, что на этот раз я обещаю быть благоразумным.

– Вы сами знаете, что это будет просто ужасно, – ответил Росс.

– Они говорили с вами о моем последнем сценарии?

– Нет. Они знают, что вы мне нравитесь, – Росс поднялся. – Тем не менее я хотел бы поговорить с Энн.

– Мой дорогой Росс, предвидя ваш приезд, она отправилась в небольшую поездку по Италии. Поскольку Энн испытывает к вам дружеские чувства, ей хотелось избежать этой встречи, которая огорчила бы ее. Вы должны понять ее, Макси. Она переживает духовный кризис: что делать, такова цена искусства, вы это знаете. В ее жизни настал такой момент, когда она почувствовала потребность заглянуть в глубь самой себя, убедиться в искренности своих чувств. Ее уже не удовлетворяет то, что лежит на поверхности: дешевка, дурацкие истории, в которых вы заставляете ее сниматься. Она достигла той зрелости, когда женщине действительно хочется отдать все лучшее, что у нее есть. . .

Вилли не мог устоять перед желанием пофлиртовать с опасностью. Это был вопрос стиля, мастерства. Это было искусство.

– Я позвоню на студию, но если ситуация не изменится, то, боюсь, руководство подаст на вас в суд, чтобы разорвать контракт.

– Передайте им, что Энн требует приступить к съемкам моей «Американской ночи».

– Я постараюсь.

– Вы останетесь пообедать?

– Нет.

– Конечно, нет. Сегодня вы уже не сможете проглотить ничего другого.

– Во всяком случае, не за одним столом с вами.

Росс собирался открыть дверь, как вдруг она распахнулась, и он нос к носу столкнулся с Гарантье, стоявшим на пороге с газетой в руке.

– Не знаю, знакомы ли вы, – сказал Вилли. – Макси, позвольте представить вам отца Энн.

– Очень рад, – произнес Гарантье.

– Мы уже встречались в Нью-Йорке, – заметил Росс.

– Вы знаете, старина, Макси всю ночь тряся в поезде, чтобы уговорить нас вернуться в Голливуд.

Гарантье взмахнул зажатой в руке газетой.

– Вчера в Корее погибли две тысячи человек, – сказал он. – И, можно не сомневаться, сегодня погибнет еще столько же. А вы заняты только мыслями о кино.

Лицо Росса побагровело.

– Сударь, весь мир занимается кино. Только одни делают его, как Сесил Б. Де Милл, и статисты у них остаются живыми, а другие – как Сталин, и статисты у них умирают по настоящему. Я думаю, что кремлевский Голливуд обходится миру гораздо дороже, чем наш.

Хлопнув дверью, он стремительно вышел из номера. Вилли с облегчением откинулся на подушки, вернув лицу естественное выражение. Теперь, когда Росс ушел, маска была уже ни к чему.

– Она не перезванивала?

– Нет.

– Может быть, она не звонит, потому что собирается вернуться?

– Я вас умоляю, Вилли, если вам очень хочется пострадать, делайте это по меньшей мере в комическом ключе. И не рассчитывайте на меня как на партнера. Вы наняли клоуна, вот и пользуйтесь его услугами.

– Где он?

– Рядом. Считает ваши галстуки.

Вилли сполз с постели и открыл дверь гостиной.

– Идите сюда, слуга.

Беддерн пришел с охапкой галстуков в руках.

– Сто сорок восемь, – объявил он. – Я их пересчитал.

– Можете взять себе, сколько хотите.

– О нет, великий Вилли! Мне всегда будет мало. Вы знаете, я ужасно требовательный. Для меня не существует пределов. Я стремлюсь к абсолюту, что для меня какой-то галстук. . . Хочу напомнить, что через пять часов мы с вами должны возглавить конкурсную комиссию.

– Комиссию? Какую комиссию?

– От вашего имени я принял приглашение возглавить конкурс красоты, который состоится сегодня во второй половине дня.

– Убирайтесь с глаз моих.

На лице Беддерна появилось плаксивое выражение.

– Послушайте, Вилли, вы не можете так поступить со мной. Позвольте мне воспользоваться ситуацией. Я всегда мечтал возглавить конкурс красоты.

– Ну ладно. Приготовьте мне ванну.

Вилли сел на край кровати и обхватил голову руками.

– Она не может так поступать с нами! – простонал он. – Нет, нет и нет!

– Ни в чем нельзя быть уверенным, – сказал Гарантье, – даже в невозможном. На первый взгляд, может показаться, что женщина, которая с таким пылом мечтает о любви, не может довольствоваться любовью. Между потребностью любить и любовью нет ничего общего.

– У меня нет времени ждать, когда ее постигнет разочарование, – огрызнулся Вилли.

Он налил себе еще шампанского и выпил. Он торопился выпить, чтобы покинуть действительность до того, как она возьмет его за горло. Чтобы освободиться от мира и самого себя с помощью шутовства, как братья Маркс, Мак Сеннетт, У. К. Филдс, Чаплин, Бастер Китон, и перейти в то измерение, где можно решить любую проблему шутовской выходкой и

упасть с луны на землю, не набив себе при этом шишки. Для этого хватило бы нескольких партнеров, способных вовремя подыграть.

– Бебдерн!

Великий импровизатор просунул голову в полуоткрытую дверь.

– Что вы делаете?

– Надеваю ваши трусы. Попробую поносить их. Кто его знает, может быть, что-нибудь произойдет. Вы не возражаете?

Он скрылся за дверью.

– Проклятие, – буркнул Вилли. – Такой персонаж увидишь разве что в «Искушении святого Антония» Босха.

– Одевайтесь, – сказал Бебдерн, снова появившись в гостиной. – Мы отправляемся на конкурс красоты. И не смотрите все время на телефон, а то он еще сломается.

Вилли снял с ноги туфлю и швырнул ее в Бебдерна.

– Надо бросать чернильницу, как Лютер, когда ему показалось, что он видит дьявола, – сказал, появившись вновь, Бебдерн. – Иначе публика не поймет!

– Если бы был дьявол, то, по меньшей мере, я бы знал, к кому обращаться! – взревел Вилли.

– И тем не менее не стоит считать публику глупее, чем она есть на самом деле, – заметил Бебдерн, то появляясь, то вновь исчезая.

Вилли почувствовал себя лучше и открыл новую бутылку шампанского. На хлопок пробки немедленно примчался Бебдерн, подметая ковер лапами длинного черного пальто, залпом выпил три бокала шампанского и убежал.

– Я знаю, что он пытается делать, – с удовлетворением сказал Вилли. – Он имитирует Гручо Маркса, Бебдерн! Ты работаешь под Гручо Маркса, верно?

Голова Бебдерна появилась из-за двери гостиной.

– Я открыл этот прием раньше него, – сердито заявил он. – И я не играю в кино! Я все делаю по-настоящему! Я разряжаю обстановку!

– И когда же это ты его открыл? – спросил Вилли, с готовностью вступая в игру.

– Его изобрел мой дедушка во время погрома, – ответил Бебдерн. – Когда казаки у него на глазах изнасиловали его жену, пропустив вперед своего лейтенанта, он подошел к нему и спросил: «А вы не могли спросить у меня разрешения, вы, офицер?» Нужно разряжать обстановку! Для того юмор и существует!

– Да, в жизни надо уметь защищаться, – сказал Вилли. – Нельзя позволять вить из себя веревки!

– А как же иначе, – подтвердил Бебдерн, – в конце концов, есть у нас гордость или нет!

Вилли очень не любил реплики в сторону, но в комедии положений они были всегда.

Гарантье с улыбкой слушал их, скрестив на груди руки. Он больше не верил в крик, он даже перестал верить в голос. Он терпеть не мог клоунов, фарс, насмешку – все то, что заставляет корчиться от хохота под тяжестью мира.

– Вы придаете юмору слишком большое значение, – сказал он. – Юмор – это буржуазный способ защиты своего покоя, при котором ничего не меняется в окружающей вас оскорбительной реальности. Потому-то я не понимаю тех, с кого сняли кожу: неужели она была у них раньше? Ирония, юмор, насмешка – не что иное, как способ уходить от социальной ответственности. Это противоречит марксизму.

– Извините, – с ужасом пролепетал Бебдерн, – я не знал!

От страха у него дрожали колени.

– Ну, ну, – попытался утешить его Вилли. – Мы им не скажем. . .

– Я хочу быть с ними! – стонал Бебдерн. – Я не хочу иметь врагов слева! Я хочу быть с ними! Именно это привело меня в такое состояние!

– А в каком ты был раньше? – мрачно спросил Вилли. Он переживал спад, и импровизация у него не получалась.

Бебдерн пришел ему на помощь.

– А наш конкурс красоты? – напомнил он, подливая Вилли еще шампанского. – Вперед, Вилли, одевайтесь!

Он помог ему надеть брюки.

– Я хочу надеть фрак, – проворчал Вилли. – Если это конкурс красоты, я хочу выглядеть абсолютно незапятнанным. Я хочу показать, что человек – не тряпка, которой можно вытирать пол, и что человеческое лицо всегда остается сияющим, благородным и чистым даже под кремовыми тортами! Я жажду чистоты, *shit!* Дайте мне лебединую манишку!

На самом же деле, он хотел опрокинуть мир, лишенный веса в том измерении, в котором страдание вызывает смех, как в первых фильмах Фатти Арбакла, Честера Конклина и Мака Сеннетта с их непременными пьянчугами во фраках и цилиндрах, топчущимися вокруг открытых канализационных люков.

– Я тоже хочу надеть фрак, – объявил Бебдерн. – Тогда у меня появится впечатление, что я окончательно порвал с рабочим классом. Вы знаете, что я однажды сделал?

– Нет. Расскажи.

– Как-то раз в Ницце проходила забастовка и демонстрация трудящихся. Я смешался с толпой и спер у рабочих два кошелька. Сами понимаете, классовая ненависть. Она накатила на меня совершенно неожиданно. Между нами: мой дедушка был мелким собственником. Все попытки сдержаться себя напрасны – в один прекрасный день все выходит наружу.

– И ничего святого, да?

– И потом, мои старые нео-марксистские мечты... Обчищая карманы трудящихся, с ними очень легко расстаешься. Именно таким образом мне удалось избавиться от этого ярма. Остался лишь неприкрытый цинизм. Непреодолимый, как смерть. Стоящий выше человека, недостижимый. Ницшеанский. Каково? Что вы на это скажете?

– Хорошая собачка, Гручо, – сказал Вилли. – Дай лапу. Хорошая собачка.

– А что вы хотите, когда в течение тридцати лет ты возлагаешь все свои надежды на коммунизм, то нужно каким-то образом компенсировать свои издержки. Нужно суметь сделать первый шаг. Кстати, я забыл вам сказать, что в тот день отмечалась годовщина Октябрьской революции.

– Лежать, Гручо, лежать, – скомандовал Вилли. – Хорошая собачка. Гручо.

– Об этой истории я написал в «Юманите», подписавшись своим именем. Таким образом, если коммунисты возьмут верх, они увидят, что я не коммунист: мне не грозит быть повешенным.

– Согласись, что расстаться с верой – очень тяжело, верно, паршивец? – спросил Вилли.

Они напялили фраки – Гарантье одолжил свой Ла Марну – и, сверкая белоснежными манишками, спустились по парадной лестнице отеля «Негреско» на первый этаж, поддерживая друг друга, как два пингвина, которые ошиблись широтой. Перед центральным входом их ожидал экипаж, сверху донизу украшенный красными гвоздиками, и, прежде чем Вилли открыл рот, чтобы выразить свой протест или потребовать объяснений, Бебдерн втолкнул его внутрь и устроился рядом. Над экипажем красовался алый транспарант с выполненной золотом надписью «Голливуд победит». Вилли тупо уставился на транспарант, потом на Бебдерна.

– Что это значит?

– В три часа на бульваре состоится цветочное сражение. Я обещал комитету по проведению праздничных торжеств, что вы примете в нем участие. Кстати, – только тс-с-с, – за это я получил пятьдесят тысяч франков!

Вилли попытался выйти из экипажа.

– Остановите! – заорал он водителю. – Я категорически отказываюсь! Я отказываюсь во имя священного права людей распоряжаться самими собой! Водитель, стойте, я выхожу!

– Сидите спокойно, – приказал Беддерн. – Иначе я продам вашу бессмертную душу прессе. Я не только расскажу, что от вас ушла жена, но еще и то, что вы любите ее до такой степени, что почти счастливы за нее. Успокойтесь, это не займет больше часа. И потом, раз уж вы пахнете хорошо, и вокруг вас пахнет хорошо, то нечего так орать.

Обезоруженный, Вилли с мрачным видом остался сидеть среди гвоздик.

Погода стояла отменная, и Английский бульвар был заполнен праздничной толпой, наблюдавшей за прохождением разукрашенных экипажей. Дикторы объявляли о присутствии Вилли Боше, и из громкоговорителей неслась музыкальная тема, которая повсюду сопровождала его. Вилли ехал, утопая в цветах, в позе римского императора, окруженного варварами, и время от времени бросал на Беддерна оскорбленный взгляд. Беддерн раздавал приветствия направо и налево, отвечая на аплодисменты, адресованные Вилли. Перед главной трибуной он велел водителю остановить экипаж и долго пожимал руку председателю комитета по проведению праздничных торжеств, который пытался говорить с ним по-американски. Беддерн, тоже пытаясь говорить по-американски, крикнул: «Да здравствует свободный мир!», и они продолжили пожимать друг другу руки, что-то бормоча по-американски, под вспышки блицев фоторепортеров. Вилли, совершенно озверевший и похожий на быка Фердинанда*, жевал букетик фиалок, а Беддерн незаметными для постороннего глаза пинками пытался заставить его встать. В конце концов, он своего добился, заехав Вилли точно по лодыжке. Тот взвыл, вскочил на ноги и швырнул букет фиалок в физиономию председателя комитета по проведению праздничных торжеств. Вся трибуна взорвалась аплодисментами, председатель покачнулся и ткнул веткой мимозы в глаз Вилли, отчего тот взревел диким голосом, принялся срывать с экипажа цветы и вместе с проволочными стеблями бросать их в лица стоявших на трибуне представителей городских властей. Вилли сделал попытку спрыгнуть с экипажа и взобраться на трибуну, но Беддерн удержал его, схватив за ноги. Публика аплодировала и топала ногами от восторга. Вилли продолжал буйствовать под транспарантом «Голливуд победит», но председателю комиссии по проведению праздничных торжеств все же удалось поймать его руку и как следует тряхнуть в знак приветствия. Вилли безуспешно пытался вырвать руку и, пока рукопожатие продолжалось, орал председателю, что лучше бы тот истратил деньги на улучшение условий жизни трудящихся, а председатель комиссии по проведению праздничных торжеств отвечал ему, что Ницца будет вспоминать Вилли с волнением и признательностью, на что Вилли сказал ему: «*You son of a bilch*»**, а председатель категорически ответил: «И я тоже». Экипаж тронулся, и Вилли снова рухнул в гвоздики, тогда как Ла Марн, продолжавший стоя приветствовать толпу, вдруг с ужасом понял; что воображал себя въезжающим на украшенном цветами экипаже в мир, совершенно свободный от войн, ненависти, восторженных иллюзий и парочки СССР – США, мир, полностью освобожденный от невозможного им, Ла Марном, и только им одним, и что он, Ла Марн, был Спасителем, Благодетелем и Миротворцем. Он покраснел от стыда, смиренно сел и, прижавшись к Вилли, чмокнул его в нос.

*Бык Фердинанд – персонаж популярных мультипликационных фильмов американской компании «Метро-Голдвин-Мейер», отличавшийся драчливым, вздорным характером.

**Сукин сын (англ.).

– Под цветами стоит ведро с бутылкой шампанского, – сказал он. – Но я зря пил, ничего не поделаешь: хмель не проходит. Протрезветь никак не удастся, остается лирическая иллюзия. . . Непобедимая, неискоренимая, с идиллическим бляением. . .

Вилли уже стоял на четвереньках и откупоривал бутылку. Глотая шампанское, он пытался придумать что-нибудь по-настоящему отвратительное, чтобы показать себя в глазах народных масс типичным продуктом американского капиталистического зла в его голливудском воплощении и тем самым наглядно проиллюстрировать нравственную деградацию Запада и крушение его ценностей, дискредитировать, наконец, всю систему, чтобы поддержать свою репутацию человека с левыми взглядами и объяснить таким образом финансовый бойкот, с которым он сталкивается, пытаясь создать гениальное произведение кинематографа. Например, можно было бы публично съесть дерьмо: ПОСМОТРИТЕ, ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЕТ АМЕРИКА СВОИХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ. ПОСМОТРИТЕ, ДО КАКОГО СОСТОЯНИЯ НИЗВОДИТ ТВОРЦОВ ВЛАСТЬ ДЕНЕГ, или же, совсем просто: ВИЛЛИ БОШЕ – ЖЕРТВА «УПАДКА ЗАПАДА», с фотографией в одной из газет. Но таким образом удастся доказать лишь то, что пресса является свободной. Иногда у него возникало впечатление, будто он поставил перед собой невыполнимую задачу: возненавидеть себя до такой степени, чтобы вина за это легла на Запад в целом. Самым приятным утешением для оправдания своей пустоты, невроза и личного поражения – всего того, что ненавидишь и презираешь в самом себе – было взвалить вину на общество, чтобы уйти от ответственности. Таким образом, в результате ловкой замены невыносимого психологического «я» социологическим «они» виновным, причем единственным, становилось последнее. Психологическое понятие превращалось в канализационную систему социологического. «Посмотрите, что вы со мной сделали, я тут ни при чем!» Но требовался огромный талант и даже гений, чтобы с достаточной убедительностью воплотить в жизнь великие идеи коммунистической пропаганды. Как требовался весь гений Сталина, чтобы с достаточной достоверностью, ужасом и кровью реализовать великие идеи антикоммунистической пропаганды.

– Бебдерн.

– Да?

– Я больше не хочу быть проводником их пропагандистских идей.

– Держитесь, великий Вилли. Не забывайте, что впереди у вас еще конкурс красоты.

Впереди них ехала украшенная цветами машина полка альпийских стрелков, игравших военные марши, позади – машина местного отделения коммунистической партии, над которой красовался огромный голубь, сделанный из белых гвоздик. И между ними в персональном экипаже с транспарантом «Голливуд победит!», не лишенном определенной доли пророческой истины, тащился Вилли с недовольно оттопыренной нижней губой. Время от времени в лицо ему попадал брошенный из толпы букет цветов, но Вилли на это никак не реагировал и лишь бормотал себе пол нос какие-то ругательства. Запах цветов в конце концов разбудил его аллергию и спровоцировал сильнейший приступ чиханья. Сотрясаемый спазмами, безостановочно чихая, он сидел в экипаже, похожий на отрекшегося от престола римского императора, едущего в своей колеснице к месту предстоящего покушения. В это время Ла Марн размышлял, не взвалил ли он на себя невыполнимую задачу: не дать войне в Корее перерасти в мировой конфликт, могучим усилием воли развести в стороны два враждебных и могущественных блока, не дать им сойтись в смертельной схватке. По радио сообщили, что генерал Маккартур требовал разрешения на применение ядерного оружия, что американский конгресс собрался на чрезвычайное заседание и что в результате новых наступлений китайские войска грозили сбросить в море силы Объединенных Наций. Мир скатывался в бездну одержимости и безумия. И тем единственным, что могло разжать тиски и спасти от страха,

оставалось шутовство. Бурлеск превращался в средство гигиены разума, в танец, которому был нипочем даже самый тяжелый груз. В моменты «душевного бляения», как называл их Ла Марн, он пускался в шутовство с пылом крутящегося дервиша. Он прыгнул на колени к Вилли и нежно прижался к нему.

– Защитите меня, великий Вилли! Защитите меня! Я отказываюсь спасать мир!

Вилли столкнул его в гвоздики и несколько раз подряд мрачно чихнул.

– Мы похожи на героев древнегреческой трагедии, которые пытаются избежать уготованной им участи, – скулил, валяясь в цветах, благородный граф Бебдерн. – Мне надоело имитировать великий страх Запада! Я отказываюсь играть свою роль в трагедии!

– Скажите это Софоклу и Сталину, – проворчал Вилли. – Вы меня утомляете.

Он продолжал чихать. Спустя какое-то время Бебдерн из сочувствия тоже начал чихать: в этом он видел проявление братских чувств – собственно, братство, быть может, в этом и заключалось: чихать вместе.

Вилли сердился. Небо было особенно голубым и сияющим – своеобразное выражение полного идиотизма, море являло собой то зрелое совершенство, которое всегда вызывало у Вилли чувства вождения и ущемленности в своих правах, как и все прекрасное, которое он не мог ни съесть, ни положить в карман. Количество восхитительных вещей, которыми не мог обладать человек, определяло его тягу к разрушению. Диалог гор с горизонтом и лесов с небесами, реки на рассвете и французские деревеньки на закате – все это пробуждало в нем сильнейшее чувство неудовлетворенности, желание, которое ничто не могло утолить. Он воспринимал это как знак того, что ему не хватает таланта: следовало бы быть Сезанном, чтобы получить полное удовлетворение. Этому вызову можно было противопоставить одно из двух: либо с головой уйти в искусство, либо ступить на путь разрушения. Красота мира была достоянием, которое постоянно ускользало от него. Вилли расценивал все это как личное оскорбление, а вызывающее сочетание синевы и света лишь обостряло его раздражение. Он спазматически чихал и чесал ладони рук, с ненавистью поглядывая в небо. Острой палкой погонщика абсолют терзал человека, направляя его к божеству, но от раздражающих уколов тот лишь чесался и шел в музеи и библиотеки. В конце концов Вилли почувствовал такое непреодолимое желание и неудовлетворенность, что ему немедленно понадобилась Энн, ее успокаивающая и достаточная во всех отношениях красота, единственное приемлемое достояние в мире – небо, которое можно было держать в руках.

Он подался вперед и похлопал водителя по плечу.

– *Get out!* Выходите!

Вилли вытолкнул шофера из машины, сам сел за руль, и машина тронулась.

– Что вы делаете? – закричал Бебдерн.

– Я хочу ее видеть.

– Вы сошли с ума! Это сорок минут езды! И вы хотите отправиться туда на машине в праздничном убранстве?

– А мне плевать. На мой взгляд, это никого не удивит.

– Но ваш конкурс красоты! Вы обещали на нем присутствовать.

– А где мы сейчас, по-вашему? – пробурчал Вилли.

Они покинули благоухающую цветами колонну и покатали в сторону Большого Карниза. Бебдерн орал: Вилли гнал машину со скоростью сто километров в час с чувством полнейшего презрения к поворотам, и Бебдерну показалось, что цветы, которые их уже и так покрывали, начинают посматривать на них с нескрываемой иронией. Бебдерн стал шарить вокруг себя в поисках бутылки шампанского, но Вилли уже успел ее опорожнить. Через какое-то время

Бедерн вдруг осознал, что, как ни странно, сильный страх пошел ему на пользу: он заставил его проще смотреть на мир и пробудил повышенный интерес к жизни.

– Вперед, гоните, Вилли! Скорее!

В Эзе красота мыса Ферра, раскинувшегося на безмятежной водной глади шестьюстами метрами ниже, предстала перед ними с такой величественностью и безразличием к ним, что Вилли и Бедерн переглянулись, а когда увидели Рокбрюн с его разноцветными домами, пальмами и мимозами, Вилли расхохотался: настолько этот пейзаж показался ему идеальным для свидания, местом, где можно было как следует поразвлечься с женой приятеля. Он напрасно тревожился: этот альковный декор не был предназначен для глубокого и серьезного чувства. Это был траходром, и ничего больше. Вилли почувствовал облегчение и с такой силой хлопнул Бедерна по плечу, что из машины выпали несколько гвоздик.

– Что это с вами?

– Ничего, милейший. Если только не считать, что ничего серьезного здесь произойти не может. Это лубочная картинка.

– Мой бедный Вилли, – с жалостью произнес Бедерн, – видно, что вы ничего не понимаете в любви! Она способна настичь вас где угодно, даже в этой корзине с цветами! Ей наплевать на обстановку!

– Да нет же, нет! – запротестовал Вилли. – Только не здесь. Не в этом премиллом местечке. Здесь не может родиться глубокое чувство. Здесь слишком спокойно. Где вы тут видите «ревушие сороковые»? В этом месте любовь сводится к кувырканию в постели. Не сомневаюсь, что здесь можно испытать наслаждение, для того сюда и приезжают. Но на этом все и заканчивается. Это постельная история. Я ничем не рискую.

Бедерн разозлился. Каждый раз, когда в его присутствии принижали любовь или говорили о ней с видом знатока, он воспринимал это как личное оскорбление.

– Послушайте, Вилли, что вы знаете о любви? – вспыхнул он с негодованием, придавшим его голосу особое достоинство. – Ничего! Абсолютно ничего! При чем здесь кувыркание в постели, вы, бабуин этакий, чьи знания о любви ограничиваются лишь вагинальными фрикциями? По какому праву вы низводите до животного состояния дар, данный вам бесконечностью? Да что я говорю, бесконечностью? Гораздо большим! Кому из тех, кто узнал, что такое любовный взгляд, еще нужна бесконечность? По сравнению с тем, что есть у меня вот тут, тут... – он приложил руку к сердцу, – по сравнению с тем, что я ношу в себе, бесконечность – это просто пустяк! Что же касается вечности, милейший, то она мечтает иметь женскую кожу, человеческие руки и губы. Она здесь – грубая, пустая, глупая, спросите-ка у нее, что бы она отдала для того, чтобы стать просто поцелуем? Так что не говорите мне: любви не может быть здесь, любви не может быть там, любовь не может того, любовь не может этого. Дерьмо собачье, я говорю вам дерьмо собачье, имея в виду всего-навсего землю, ибо с вами любовь не может подняться выше!

Вилли побелел от охватившей его ярости.

– Как вы смеете? – взревел он. – По сравнению с любовью, ваша бесконечность – не что иное, как перезревшая фригидная барышня! Любовь, я знаю, находится здесь, здесь! – и он постучал себя в грудь.

Они оба бурно жестикулировали, хрустя манишками фраков, и их силуэты четко вырисовывались на фоне синего неба.

– Вы ничего не смыслите в любви! – орал Ла Марн. – Абсолютно ничего! Я перечитал всю литературу по этому вопросу. Я знаю все, что можно прочитать о любви! Например, журнал «ELLE» в течение года еженедельно публикует «Малый словарь великих влюбленных», и я не пропустил ни одного номера, ни одного! Поэтому замолчите!

– Несчастный лакей! – ревел Вилли. – Человеческий отброс! Кто снял «Ромео и Джульетту», я или вы? Вам не известна моя репутация, да?

– Плевать я хотел на вашу репутацию, плевать! – лепетал Беддерн. – Я с удовольствием помочусь на нее, если она материализуется!

Вилли схватил его за шею.

– Хотите, чтобы я сбросил вас в пропасть?

– Отпустите меня! Вы говорите с человеком, который любил всю жизнь, не оскорбляйте его!

– Кого? Кого вы любили?

– Как это – кого? Что это значит – кого? В вашем понимании, чтобы любить, нужно кого-то иметь под рукой? Это что – выбор товара? Покупка? Бакалейные продукты? Лично я любил женщину вообще, вот так. Я ее не встречал, а потому могу говорить с вами о любви! Нельзя встретить любовь и низвести ее до такого состояния! Она величественнее и сильнее всяких встреч! Любовь – это стремление к любви! Ее нельзя использовать! Любовь нельзя низвести до уровня жалких потребительских запросов! И потом, влюбленный человек сам не видит любви, он теряется и думает «черт, не может быть, неужели это и есть любовь?» Да, она самая и есть! И когда человек переживает настоящую любовь, она уносит его, как бурный поток, его больше нет с нами, чтобы говорить о ней!

Они ехали по Среднему Карнизу в украшенной цветами машине, с ненавистью переглядываясь и говоря о любви.

– Я сверну вам шею, – шипел Вилли. – Первому же, кто скажет, что я не знаю, что такое любовь, я. . .

– Сколько женщин прошло через вашу постель? – кричал Беддерн. – Тысяча? Две тысячи?

– Это не важно, у меня есть только одна!

– Я сохранил девственность, – продолжал Беддерн, стуча себя в грудь, – поэтому я имею право говорить о любви! Я знаю, что это такое! Она здесь, внутри! – кричал он и снова стучал себя в грудь. – Ее здесь полно! Что такое любовь осознаешь только тогда, когда ее не хватает! И тогда ее чувствуешь, понимаешь, можешь оценить ее отсутствие и величие, можешь говорить о ней со знанием дела! И в тебе самом, и вокруг тебя существует пустота, которая становится все больше и больше! Она тревожит и не дает покоя! Ты живешь с ней и знаешь о ней до мельчайших подробностей, но то, чего не знаешь о любви, не познав ее, уже никогда не может быть пережито. Пережитая любовь – это уже нечто совсем другое! Это как коммунизм, когда тот опускается на землю и претворяется в жизнь! Результат не имеет больше ничего общего с коммунизмом. Надеюсь, вы не считаете, мой бедный мальчик, что можно жить большой любовью и разглагольствовать о ней, находясь в этом мире? Осторожней, мне больно в коленях! Вы уже встречали людей, которые посетили мир иной и теперь живут, чтобы рассказывать о нем? А? Скажите мне. То-то! Вы знаете людей, которые вернулись из загробного мира? Эх, бедняга!

Беддерн так разошелся, что к его польскому акценту добавился еще и ниццкий говор, что, в сочетании со своеобразной внешностью и фракком, усугубляло необычность его фигуры на величественном фоне лазурного моря и синего неба. Его горящие глаза под тонкими ниточками бровей были полны слез, и он бил себя в грудь кулаком.

– Я не познал любви и потому знаю, что это такое! – кричал он, весь взъерошенный. – Я – настоящий любовник, все остальные – потребители!

Вилли и Ла Марн посмотрели друг на друга с таким отчаянием и яростью, что почувствовали стыд перед этой обнаженностью чувств: они спровоцировали настолько сильный приступ

искренности, что теперь не знали, как себя вести. Бебдерн замолчал, виновато потупил глаза и, слабо улыбнувшись, уткнул нос в гвоздику. Вилли закурил сигару.

– Какой дом?

– Его отсюда не видно. Можете оставить машину на площади Шато.

Они остановились посреди площади и устремились в кафе, где Вилли заказал бутылку шампанского. Хозяин встретил их широкой улыбкой.

– Итак, месье Ла Марн, вы приехали повидать влюбленных? В деревне только и разговоров, что о них!

– Пошли отсюда! – буркнул Вилли. – Не-мед-лен-но!

Тем не менее они выпили шампанского, еще одну бутылку взяли с собой и по улице Фонтэн дошли до улицы Пи.

– Это здесь? – прошептал Вилли.

Вопрос был чисто риторическим, это и так чувствовалось: от дома исходила аура счастья. Дом венчала башня, и узкие ступеньки карабкались вдоль стены до плоской крыши. Внутри был маленький дворик: дети играли под присмотром святых и мадонн, стоящих над дверями, фасады отличались легкостью, присущей разлетающимся в танце женским платьям. Задрав голову, Вилли остановился перед домом, чувствуя свою незащищенность. Он испытывал даже нечто схожее со стыдливостью. Он улыбнулся и тихо произнес:

– Там внутри, за этими стенами, они живут моей любовью.

Граф Бебдерн, он же владелец прочих обитателей одиночества, молчаливо стоял рядом, смущенный его интонацией. Вилли сделал шаг к ступенькам, но ему в ноги, как воробышки, бросились мальчик и девчушка лет десяти.

– Они там, в лесу, на старой башне. . .

– Покажите нам дорогу, – велел Вилли. – Держите. . .

Он достал из кармана несколько леденцов от астмы и протянул их детишкам. Из деревни они вышли на дорогу, ведущую в Горбио. Перед небольшим кладбищем, возвышавшимся над местностью, Вилли остановился, не скрывая своей заинтересованности: с каждой могилы открывался восхитительный вид на море, небо и холмы, поросшие оливковыми деревьями. Он даже начал раздеваться, ворча, что ему надоело играть Вилли Боше, что эту роль очень трудно выдерживать, и что он собирается лечь здесь. Бебдерну с большим трудом удалось убедить его продолжить борьбу за выживание и победу клоунов, исполняющих свой грустный номер на арене декадентского цирка Запада. Он призвал его не склоняться перед варварскими ордами неприятеля, предложил послушать «Голос Америки» и даже рассказал о последнем императоре из династии Комненов, который умер с мечом в руке, сражаясь под стенами окруженной Византии. Естественно, Вилли был польщен этим сравнением и позволил уговорить себя не подыхать от любви, когда имелось множество других причин отдать Богу душу. Он завернулся – морально – в пурпур, прикончил бутылку шампанского и продолжил борьбу за честь, которая заключалась в отталкивании реального мира силой одного лишь смеха; он даже заявил детям, что помереть от смеха – не такой уж плохой способ помереть, особенно когда тебе грозят атомной бомбой. Таким образом, они продолжили топтаться на арене во фраках с накрахмаленными манишками, противопоставляя их, как провозглашение чувства собственного достоинства, жестокости жизни и смерти. Мальчик и девочка, держась за руки, шагали перед ними.

– Уже пришли! – проворчал Вилли, указывая на них пальцем.

Дети остановились перед тропинкой, которая начиналась на опушке и терялась в лесу из сосен и оливковых деревьев. Вилли и Бебдерн задрали головы и посмотрели на вершины деревьев.

– Это на самом верху, – сказал мальчик. – Нужно перейти ручей.

– Чем там, наверху, можно заниматься? – спросил Вилли.

– Ха, любовью, конечно! – ответил самый юный из Эмберов. – Чем же еще, по-вашему?

– Вы слышали, Бебдерн? – завопил Вилли. – Они развращают даже детей!

– Мне на это наплевать, – заявил Ла Марн, постоянно терзавшийся вопросом, не перерастет ли корейская война в ядерную, которая по самым приблизительным оценкам унесет около семидесяти миллионов жизней. – Этого нельзя допустить ни в коем случае!

– И я придерживаюсь того же мнения! – проворчал Вилли.

– Ядерный конфликт следует предотвратить любой ценой! – бормотал Ла Марн. – Посмотрите на этих детей! Их нужно спасти! И единственный способ сделать это – остановить Сталина. Если бы не было Сталина, коммунизм был бы совершенно другим! Он был бы человеческим, благородным, соблюдал бы права человека! Во всем виноват Сталин!

– Мне нет никакого дела до ваших глупостей! – взорвался Вилли. – Мне нужна моя жена! Далеко еще?

– Нужно только подняться наверх, – пояснил мальчик, – до Со-дю-Берже... Если идти быстро, вы будете там через десять минут.

– *Shit*, – буркнул Вилли. – В кои-то веки выбираешься на природу, и на тебе – оказываешься на склоне горы!

Сопровождаемые насмешливым взглядом детей, они полезли наверх. В воздухе пахло сосновой смолой, и ее запах вызвал у Вилли сильный приступ чиханья. Свежий воздух и ароматы природы ударили им в голову.

– В этом нет никакой диалектики! – ворчал Бебдерн. – Никакой идеологии! Находясь на природе, я чувствую себя не в своей тарелке!

Он остановился и запел:

– Лю-блю звук рога... .

– Заткнись!

– Лю-блю звук рога вечерней порой в глуши лесной! – пел Бебдерн, прижав руку к сердцу. – Полагаю, вы отдаете себе отчет, что в одном этом стихе заключен весь декаданс Запада? Запад заблудился в лесной чаще, вот-вот наступит ночь, а он лишь играет на музыкальном инструменте! Кстати, не помешало бы, чтоб они не прошли!

Последний из Комненов и последний из Раппопортов добрались наконец если не до стен Византии, то до ручья, через который была переброшена кладка, однако кто-то перетащил ее на другую сторону и тем самым прервал сообщение между двумя берегами. Вилли яростно метался у кромки воды.

– Это мое! – ворчал он, стуча себя кулаком в грудь. – Там, наверху, они занимаются моей любовью! Я хочу видеть, на что похоже мое счастье!

– Как можно заниматься любовью на пути ста пятидесяти трех советских танковых дивизий? – осведомился Бебдерн.

– Пятидесяти двух, – поправил его Вилли.

– Как это, пятидесяти двух?

– Они располагают ста пятьюдесятью двумя танковыми дивизиями, – сказал последний из Комненов, – и ни одной сверх того!

– Как так, ни одной сверх того? – с раздражением воскликнул Бебдерн. – А те, что два дня назад были переброшены в Карпаты? А те, что находятся в полной боевой готовности в Польше, Венгрии, Чехословакии? Вы что, не читаете газет? Бьюсь об заклад, что вы даже не слушаете «Голос Америки»!

– Сто пятьдесят две, – упорно стоял на своем Вилли. – Когда, наконец, вы прекратите сеять панику?

– Это лучше, чем обманывать самого себя в атмосфере кажущейся безопасности! – вспыхнул Бебдерн. – Я вам говорю: сто пятьдесят три дивизии вместе с теми, что стоят в Карпатах!

– Сто пятьдесят две, – мрачно сказал Вилли.

– Сто пятьдесят три!

– Сто пятьдесят две!

Дело чуть не дошло до драки: каждый хотел доказать другому, что знал больше о грозящей им опасности, но, к счастью, Бебдерн вспомнил, что они находились здесь не для того, чтобы противостоять страху, а, напротив, чтобы спастись от него, и что защищаться от мерзких исторических рож реальности они собирались с помощью кремowych тортиков. Он уступил Вилли, бросив дивизию в Карпатах на произвол судьбы: сто пятьдесят две советские дивизии в любой момент были готовы перейти в наступление.

– У меня есть идея, – сказал Вилли. – Нужно, не переходя через ручей, забраться на холм, что напротив. Он выше и с него, может быть, мы что-нибудь увидим.

Измотанные до крайности, они взобрались на вершину холма, который возвышался над ручьем и назывался Со-дю-Берже, но по-прежнему не увидели ничего, кроме деревьев и развалин каменной стены – ни следа любви.

– Я залезу на это дерево, – решил Вилли. – Помогите мне.

– Хорошо, – сказал Бебдерн. – Постарайтесь что-нибудь увидеть. Любовь должна быть где-то на горизонте!

Он опустился на колени под оливковым деревом, и Вилли взобрался ему на спину. «Ну вот, – с мрачным удовлетворением подумал Ла Марн, граф Бебдерн, маркиз Интернациональных бригад, герцог Мюнхенский и герцог пакта Молотова-Риббентропа, шевадьё социализма с человеческим лицом, – ну вот, я – во фраке – стою на четвереньках под деревом на вершине холма с принцем Голливудским на спине, вот последняя поза старую борца, от Сталина до Троцкого и Ги Молле, вот к чему приводит жизнь человека с левыми взглядами». Им пришлось сделать три попытки, прежде чем Вилли удалось наконец уцепиться за ветки и взобраться на дерево, и все это время Ла Марн отчетливо слышал в ушах смех Сталина. Пока Вилли тщетно высматривал признаки любви на горизонте, Бебдерн взволнованно следил за ним с земли.

– Вы что-нибудь видите? – тоскливо бормотал Бебдерн. Он начинал трезветь, а этот момент одинаково мучителен для всех.

Вилли продолжал карабкаться вверх по старым сучьям, а Бебдерн снизу подбадривал его, декламируя сонеты Петрарки и рубайи Омара Хайяма. Задрав голову, Вилли заметил то, что принял сначала за птичье пугало. Но, присмотревшись, он сообразил, что это человек, комфортно устроившийся на дереве. Он держал у глаз бинокль и, казалось, с головой ушел в созерцание чего-то неведомого, находящегося на линии горизонта.

– Что вы там делаете? – заорал Вилли. – Это мое!

Субъект с биноклем не удостоил его ни малейшим вниманием и даже не шелохнулся. Вилли совершил прыжок в стиле Тарзана, схватил наблюдателя за ноги, но потерял равновесие и вместе с ним под треск ломающихся веток свалился на заоравшего Бебдерна. Поднявшись на ноги, они рассмотрели типа, стоявшего рядом с ними. Он выглядел весьма элегантно: падение, казалось, на нем никак не отразилось. Барон, похоже, принадлежал к редкой категории привилегированных лиц из высшего общества, которые сохраняют безупречный вид при любых обстоятельствах: будь то крестовые походы, голод, массовые убийства, идеологический триумф на горах трупов, строительство бесклассового общества, защита истинной веры или

право руководить народами во имя права народов самим решать свою судьбу. Одним словом, было видно, что он привык к падениям. Он лишь поправил белую гвоздику в петлице. Падая, барон даже не выпустил из рук бинокля; что бы ни случилось, он, вне всякого сомнения, собирался и дальше продолжать созерцание горизонта в поисках неведомого.

– Ну и ну, это же человек, интересующийся Хольдерлином! – с симпатией воскликнул Ла Марн. – Что вы делали на верхушке дерева? Жажда Любви?

– Как это, что он делал?! – возмутился Вилли. – Он подсматривал, вот что! Ну сейчас я ему задам. . .

Внезапно он замолчал. С того места, где они находились, были видны Итальянский мыс, залив Мантон и залитые светом долины; между соснами и оливковыми деревьями вилась дорога на Горбио, и Вилли заметил пару, далекую и недоступную, которая направлялась в сторону деревни, шагая по другой земле, где жизнь сверкала всеми гранями счастья. Мужчина и женщина шли по тропинке, прижавшись друг к другу, и, казалось, будто они идут одновременно по морю и небу. Энн была в белой блузке, ее волосы, развевавшиеся на ветру, напоминали след корабля, плывущего по спокойному морю, а над ней мистраль неторопливо погонял стада белых облаков.

Все трое проводили пару взглядами, причем барон – не отрывая бинокля от глаз. Трое зрелых мужчин наконец-то поняли: вот он, момент истины. Потом Бебдерн прикрыл ладонью глаза, а барон чуть вздернул подбородок, повернулся спиной к небу и земле, словно они вдруг потеряли свое значение, и, не сказав ни слова, удалился, слегка покачиваясь на негнущихся ногах. Что касается Вилли, то у него, естественно, тут же начался приступ астмы. Они с трудом дотащились до деревни. Бебдерн усадил Вилли в украшенную цветами машину, сел за руль и увез побежденного с арены.

XXI

Пополудни они отправились по дороге на Горбио – тропинке, протоптанной мулами высоко над морем, по самому верху долины Мантон, позади маленькую белую кладбища с могилой одного из великих русских князей, чуть выходящей за его пределы. Потом они взобрались на вершину холма к руинам сторожевой башни и, расположившись на принесенном с собой пледе, оставались там до тех пор, пока не скрылось солнце и пока у них не иссякли силы. Пока они лежали, никто не мог их увидеть, однако стоило им встать, как они становились хорошо заметными на фоне неба, но это уже не имело никакого значения. Чтобы добраться до них, нужно было перейти ручей по переброшенной через него доске, но Рэнье убрал ее, и они стали недостижимыми для посторонних, насколько вообще можно быть таковыми. О каждом пройденном часе им сообщал бой церковных часов. Сначала Рэнье хотел договориться с кюре, который был добрым христианином и врагом мучений, чтобы тот на недельку остановил часы, а жителям деревни сказал, что они сломались. «Я уверен, что кюре сделает это, – думал Рэнье. – Он славный малый, к тому же с юга, с присущими всем южанам запахом чеснока и акцентом. Кюре для живых людей. Завтра утром я переговорю с ним». Но он не сделал этого, он ограничился тем, что каждый раз при бое часов искал своими губами губы Энн. В конце концов он убедил себя, что часы били исключительно с этой целью, и что церковь и кюре существовали здесь только для этого.

– Поцелуй меня.

Он поцеловал ее. Но этот поцелуй был не самым лучшим.

– Этот поцелуй был не самым лучшим, – заметила она.

– Это потому, что у нас уже все было.

– Жак.

– Да.

– Когда ты уехал в первый раз?

– Испания. . .

Он встал, чтобы напиться, и поднял кувшин с земли, думая об Испании и ее голых крутых холмах, так не похожих на эти, застывших, словно стада буйволов, под несущимися галопом облаками. Рэнье вспомнил о холме Толедо: когда он увидел его впервые, тот поведал ему не столько о товарищах, павших у стен Альказара, сколько об Эль Греко, который должен был писать его для своего «Распятия в Толедо» почти с того же самого места, и тогда он подумал – еще пятнадцать лет тому назад! – что скоро не будет диктатора, не будет Франко, Гитлера, Сталина, и что города будут брать лишь с одной целью: насладиться их красотой или запечатлеть на полотне. Но он тоже был ранен под Альказаром. Рэнье поднял кувшин и подставил рот под струю ледяной воды, вонзившейся в него подобно клинку. Он с яростью подумал, что пришло время перестать смешивать красоту городов с красотой борьбы – лучше умирать на глазах Эль Греко и Гойи, чем офицера генштаба.

– Мой отец ушел раньше – в 1914 году – и не вернулся. В 1940-м мать говорила: скоро Франция станет историей без французов, останутся одни виноградники и больше ничего.

– Он был похож на тебя? Внешне, я имею в виду.

– Я плохо его знал. Он был идеалистом, человеком гуманным, вдохновенным, но без четко определенных взглядов. Раньше такими были первые социалисты, сегодня – последние аристократы.

Он снова лег рядом с ней, запустил пальцы в ее густую шевелюру, и она впервые заметила на его запястье солдатский браслет с выбитым на нем личным номером. Он напоминал половину наручников: вторая половина, как символ братства, должна была находиться на руке борца за дело коммунизма. Два Прометея, скованные одной цепью и тем самым обреченные сражаться друг с другом.

– Жак.

– Да.

– У тебя есть фотография, когда ты был маленьким?

– Нет.

– Жаль.

– Почему?

– Так. . . Матери недалновидны. Они никогда не думают. . .

Энн хотела скачать «они никогда не думают о других матерях», но осеклась. Он бы не понял. И, к тому же, она не была уверена. В эти дни месяца у нее было больше всего шансов забеременеть: снова приходилось рассчитывать на удачу. Иногда она рассматривала его лицо, чтобы выявить будущее сходство. Ею двигало не только желание родить от него ребенка, но и не в меньшей степени – нежелание навредить себе. Отныне только ребенок мог удержать ее от необдуманных действий.

– Пододвинься ближе. Да, можно еще.

– Так?

– Так.

Высоко в горах слышались колокольчики овец, а снизу, из долины, доносился детский смех; ветер, качалось, выбирал из всех шумов те, которые легче всего было нести с собой.

– Жак.

– Да.

– Расскажи немного о себе. Ведь я тебя не знаю. Я ничего о тебе не знаю.

– Да нет же, кое-что знаешь.

– Может быть, в общих чертах. По верхам. А я хочу знать мелочи. Те, что имеют значение.

Расскажи. У нас даже не было времени поговорить.

– Расскажи ты.

– Ну ладно. . . Сначала я вышла замуж.

– Это в общих чертах. Я хотел бы знать мелочи. Те, что имеют значение.

Она тряхнула головой и уткнулась носом ему в грудь. Рэнье взял ее лицо в ладони и поцелован в губы долгим поцелуем, как мужчина, отдающий все лучшее, что есть в нем самом.

– Вот видишь, – скачал он. – Вообще-то я думаю, что пора покончить со словами, как со средством выражения, и вернуться к поцелуям. Они говорят все. Они не умеют лгать. И даже когда пытаются обмануть, ложь сразу всплывает на поверхность, потому что язык сам спотыкается на ней.

– Мне следовало бы опасаться тебя, – скачала Энн. – Люди, которые красиво говорят, похожи на профессиональных танцоров. Те прекрасно вальсируют с любым партнером.

Рэнье нежно ласкал ее грудь, вкладывая в прикосновение всю нежность, на которую способна мужская рука. Его губы снова отправились в медленное странствие, которое прервал, вызывая ощущение полета, этот крик, даровавший ему жизнь и возвращавший все то, что он потерял, пропустил и испортил в своей жизни.

– Крик муэдзина, – пробормотал он.

– Помолчи.

– Но крик муэдзина вызывает ассоциации лишь с пальмой, минаретом, фонтаном и пустыней. Тогда как ты. . .

– Помолчи.

– . . . Твой крик дает все то, что было пропущено в жизни. Моя мать умерла в сорок третьем, не зная, что Франция стала свободной и что я остался в живых. Но теперь она это знает. Она услышала.

– Это не кощунство?

– Нет. Потому что я не способен на такое кощунство.

Шелестели листвой оливковые деревья, небо в белой пыли быстро несло в вышине, и солнце нещадно слепило глаза. Сюда никто не добирался, кроме рыбацких лодок с рыбаками, которые, качалось, парили над долинами Мантона и мысом, над оливковыми деревьями и плантациями степных гвоздик. Энн и Рэнье приходили сюда каждый день, но однажды, подойдя к ручью, они увидели, что кладка убрана, а на другой стороне в зарослях кустарника их поджидали двое ребятшек, которым на пару было не больше двенадцати лет. Дети сердито смотрели на пришельцев. У мальчика на голове была бумажная треуголка типа наполеоновской, а девчушка стояла рядом, держась за его рукав. Они убрали доску – перейти на другую сторону было невозможно. Рэнье попытался вступить в переговоры.

– Это наше место, – заявила малышка. – А мост построил Пауло, – добавила она, показав на доску. – Мы были здесь раньше вас. Правда, Пауло?

Мальчик не произнес ни слова, лишь надул губы, выставил вперед босую ногу и, шевеля пальцами, с вызовом уставился на незваных гостей.

Рэнье настаивал, чтобы их пропустили, но Энн потянула его за рукав, и, развернувшись, они начали спускаться к дороге на Горбио. В этот момент девочка окликнула их. Они остановились. На другой стороне ручья шло долгое шушуканье: мальчик, по всей видимости, не соглашался со своей подружкой, но было ясно, что, несмотря на треуголку и сердитый вид, главным в их команде был не он.

– Что вы нам дадите, если мы вас пропустим?

Сошлись на том, что за пятьдесят франков мост будет опускаться каждый день после полудня. И каждый раз, когда они приходили, дети были на месте. Мальчик опускал мост и по-военному отдавал честь, пока они переходили на другую сторону. А потом дети стремглав мчались в деревню за мороженым.

Естественно, это были маленькие Эмберы.

XXII

Он стоял на террасе, и Энн хорошо видела его на фоне звездного неба. Воздух был напоен той морской свежестью, которая успокаивает и осушает слезы. Накануне, рано утром в дверь кто-то постучал. Это был человек маленького роста с печально изогнутыми бровями.

– Прошу извинить, но у меня важное сообщение для. . .

Я пошла будить тебя. Вы не без враждебности обменялись рукопожатием. Маленький человек посмотрел на меня долгим взглядом и приложил руку к сердцу, как это делают президенты Соединенных Штатов, отдавая честь флагу. В нем все было смешным. Чарли Чаплин говорил, что рассмешить людей – верный способ заставить их полюбить тебя.

Ла Марн достал из кармана газету и развернул ее.

– Вот, на третьей странице. . . Сегодня пополудни состоится встреча друзей шевалье Байяра. . .

– А, ну ладно, – сказал Рэнье.

– Должно быть, они повсюду вас ищут. . .

Ты захлопнул дверь у него перед носом.

Не нужно плакать. Надо быть, как говорят мужчины, сильной женщиной. Она встала, натянула белый пуловер и, сидя на кровати, посмотрела на разбросанные по полу газеты.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ США ПРИВЕДЕНА В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ.

«НУЖНО ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ», – ГОВОРИТ ЭЙЗЕНХАУЭР.

БРАТСКИЕ НАРОДЫ СССР И КИТАЯ СПЛАЧИВАЮТСЯ ВОКРУГ ТОВАРИЩЕЙ СТАЛИНА И МАО. . .

Он уезжал через два дня.

Энн подумала о небоскребе ООН, который осматривала накануне отъезда, не подозревая, что разглядывает то самое место, где завязывалась ее судьба. «Войска Объединенных Наций высаживаются в Корею. . .» Эти слова на последних страницах газет не пробуждали в ней никакого отклика. В них было что-то далекое, незнакомое, нереальное. Ей казалось, что на самом деле они были не более, чем ошибкой. Небоскреб – никогда раньше человеческое устремление не заслуживало лучшего имени. Расположенная на Ист-Ривер, башня Объединенных Наций символизировала очередное бегство на небо человечества, одержимого невесть какой мечтой о недостижимом. Погоня за несбыточным, так насмешливо называл Рэнье эту всепоглощающую тоску, и точно так же он мог бы сказать о себе самом.

Она вышла к нему на террасу.

– Куда, Жак? До каких пор?

Она пыталась говорить сдержанно, без излишней горячности в голосе, не выплескивая наружу свое возмущение и женский гнев.

– Почему все-таки Корея?

Он ответил не сразу, улыбнувшись так, будто просил у нее прощения.

– Это уникальный момент в истории, Энн, и его нельзя упустить. Коммунизм попал в руки безумного диктатора. Коммунизм – пленник Сталина.

– Выходит, коммунизм тоже нужно освободить, так?

– Ему нужно дать шанс развиваться свободно, как всем живым существам. Я не боюсь победы коммунизма – я боюсь его поражения. Потому что поражение – это всегда насилие, ужас, угнетение, страх. Вот уже четверть века Сталин мешает коммунизму жить, не дает ему расцвести, стать творением человечества. Он присвоил слова, сказанные его другом Горьким: «Если враг не сдается, его уничтожают». Этим он и занимается. Мы не сдадимся. Вот поэтому Объединенные Нации и сражаются в Корее. Повторю еще раз: сталинизм – это не коммунизм, это уродство, чудовищная историческая ошибка. Истинное лицо коммунизма можно будет увидеть только после падения Сталина.

«Одержимый, – подумала она. – Это безнадежно. Сидит с пустым рукавом на фоне звездного неба, искалеченный, но неведимый, и видит в поражениях лишь потенциальные победы». Она не хотела этого говорить, но не сдержалась:

– И всегда самые лучшие роли. . . Против Франко, против Гитлера, а теперь против Сталина. . . Все, как у нас в Голливуде. Звездный принцип. Кончится тем, что ты получишь Оскара. Оскара за самую лучшую роль в самой лучшей борьбе. Я не хочу тебя обижать, но. . .

– Да нет же, ты меня не обижаешь. Это похоже на правду. Однажды деревенский мальчик лет одиннадцати-двенадцати попросил у меня автограф. . . Ну да! Он встал передо мной и строго на меня посмотрел. «Это правда, что вы герой? – Нет. – А папа сказал, что вы – участник Движения Сопротивления. – Ну да. – Тогда могу ли я получить у вас автограф?» Я расписался. Он поразмыслил немного, а потом спросил: «А что такое участник Движения Сопротивления?» Смешно, правда?

– Нет. И не стоит отправляться умирать в Корею, чтобы освежить ему память. . . Что ты защищаешь, Жак? Что, конкретно?

– Хрупкость. . .

Он замолчал, пытаясь сдержаться. И снова по его губам скользнула извиняющаяся улыбка, словно он знал, что она – порождение мелодии его души, которые исчезали, как только переставали быть немymi. Возможно, в конечном итоге Горький был прав, и жалкий буржуазный идеализм стремился превратить мир в республику не менее жалких душонок. А самый юмор был не чем иным, как тщетной попыткой разрядить обстановку, способом уничтожить смешное, доводя его до абсурда. Рэнье спросил:

– Ты умеешь играть на гитаре?

– Нет. А что? Что это значит?

– Было бы легче петь, если бы ты могла подыграть мне на гитаре. . . Послушай. . .

Чтобы помочь, Энн взяла его за руку и прижала ее к своей щеке. Рэнье опустил голову. Он не находил нужных слов. Ничто не оправдывало абсурдной необходимости покинуть ее.

Он мог остаться с ней с чистой совестью.

– Выслушай меня. Прошлой осенью я был в деревне, которая называется Везеле. Я не буду ее тебе описывать. Когда ты читаешь какую-нибудь басню Лафонтена, там говорится о ней, когда ты читаешь Ронсара или дю Белле, это тоже Везеле, деревня очень хорошо описана, очень верно. И, конечно, читая Монтеня, получаешь настоящий урок о Везеле. Везеле прочувствована, осмыслена и изучена изнутри, чтобы показать нам, что же это такое. Я уверен, что теперь ты представляешь себе деревню, пейзаж вокруг нее, а также свет, который способен, подобно разуму гения, смягчить ослепительное сияние ровно настолько, насколько нужно. . . На граните памятника жителям Везеле, павшим в сражениях минувших войн, выбиты только четыре имени. Это имена мотыльков*. Первым идет Огюстен Папийон,

* Мотылек – papillon (*фр.*) – по-русски звучит как «папийон», довольно распространенная французская фамилия, и именно это обстоятельство обыгрывает автор романа.

погибший в 1914-1918 годах, затем Жозеф Папийон и Антонен Папийон. Спустя четверть века к ним присоединился Леон Папийон, погибший в 1940 году. . . Вокруг раскинулись сады, базилика, холмы и виноградники, надежно отгораживающие нас от горизонта, словно для того, чтобы лучше охранять. . . Я смотрел на эти имена, казавшиеся не столько выбитыми в камне, сколько парящими в воздухе, и думал, что мотыльки – существа очень хрупкие, они летают не очень высоко и не очень далеко, а светлое будущее наступает для них слишком поздно. Вот что я защищаю, Энн – хрупкость. . .

Она слушала его, подтянув колени к подбородку и подрагивая от ночной прохлады. Густые волосы наполовину скрывали ее тонкий профиль. Когда-то на этом самом месте, на этой провансальской земле жили другие трубадуры. Позже, в приступе тоски и отчаяния она скажет отцу: «Этот человек боготворил то, что любил. Я представляю его таким, каким бы он был в давние времена, бродящим по миру со своей лирой и воспевающим Францию, Деву Марию, Везеле, Свободу и Хрупкость. В его душе звучала поэма, которой требовался объект преклонения, и в этой потребности обожествлять было слишком много места, чтобы его целиком могла занять женщина».

– Ты получишь своего Оскара, – сказала Энн. – Это очень хорошая роль. Этаким Эрролом Флинном, к тому же вдохновенный. Фильм можно было бы назвать «Любовник проигранных сражений». Постановка Сталина, натурные съемки проведены в Корее, музыка Карла Маркса. Согласен?

– Согласен. Мы победим, но все сражения станут проигранными сражениями. Нужно всегда все начинать сначала. Альбер Камю написал об этом целую книгу – «Миф о Сизифе».

– Хорошо, пусть будет «Миф о Сизифе» с Жаком Рэнне и его камнем в главных ролях.

– Я ничего не могу поделаться, Энн. Мне нужно оставаться смешным.

Он подумал о Ла Марне, испанском гранде, герцоге д'Аушвиц, рыцаре Прав Человека, коннетабле Мюнхена, принце Вельд'Ив, сеньоре Хиросимы, маркизе Непорочного Зачатия, бароне Непокосимой Веры, Минуло более сорока пяти лет с тех пор, как Зиновьев, будущая жертва Сталина, впервые произнес слова «социализм с человеческим лицом». . . Трудно было сказать; «Да, я верю, несмотря ни на что, я все еще верю», трудно было сохранить традиции великих грустных клоунов: Бриана – «Назад, пушки! Назад, пулеметы!», Леона Блюма, Чаплина и братьев Фрателлини. Нужно было стиснуть зубы и продолжать веселить толпу. Вся проблема сводилась лишь к паре дополнительных кремовых тортиков, брошенных в лица нескольких покойников.

– У тебя самый приятный голос из всех, которые мне доводилось слышать после появления звукового кино, – сказала она.

Но он был тем человеком, который умел принимать насмешку. Насмешка, ирония, пародия были для него испытанием огнем, которому этот верующий подвергал свою веру, чтобы она вышла из пламени более уверенной в себе, более ясной, с более широкой улыбкой.

– Хрупкость, Энн. . . Я не согласен, когда во имя Истины чудовищно широко раздвигают ножки циркуля, втыкая одну иглу в страдание, а другую – в грядущее, тем самым превращая светлое будущее в угрюмое сегодня. Истина не существует. Не знаю, известен ли тебе знаменитый рецепт великого нормандского кулинара Дюпра: «Возьмите истину и дайте ей как следует отлежаться, чтобы увидеть, не меняет ли она цвет у вас на глазах и не превращается ли в свою противоположность: понаблюдайте, чем она питается – случайно, не вами ли? Затем поднимите ее на высоту человеческого роста, не выше и не ниже, хорошенько понюхайте, убедитесь, что она не имеет трупного запаха, откусите малюсенький кусочек и, не глотая, осторожно попробуйте его на вкус: тщательнейшим образом разжуйте, особенно в том случае, когда кто-то хочет, чтобы вы проглотили истину целиком; убедитесь, что она вас не

душит, не встает поперек горла, не выворачивает наизнанку, не вылезает обратно через нос, не вызывает потливости и тошноты, и только тогда глотайте ее, но постепенно, мало-помалу, все так же тщательно разжевывая каждый кусочек, но самое главное – всегда будьте готовы выплюнуть ее. . . » И Дюпра, один из величайших кулинаров Франции, делает следующий вывод: «Демократия – это право выплюнуть. . . »

Энн закрыла глаза.

Хорошо сказано, Жак. Очень красиво. И очень правильно. Это хорошая причина, чтобы оставить меня. Женщине так приятно быть покинутой за право выплюнуть. Позже я скажу своим друзьям: я встретила замечательного человека. Вы по-прежнему встречаетесь с ним? Нет, он оставил меня именно потому, что был замечательным человеком. Если бы он остался со мной и мы прожили вместе счастливую жизнь, он лишился бы моральной красоты. Он был великим комиком. Когда он прикасался к моей груди, ощущение было таким, будто в его руке находилась круглая Франция. Я могла бы любить его всю жизнь, но, по-видимому, женщина не имеет права удерживать при себе такое духовное величие. Это было давно, в 1952 году. Помните? Война в Корее. Нет, конечно, кто сейчас о ней помнит! С тех пор было столько других. . . Его звали Жак Рэнье, и он хотел освободить коммунизм от Сталина, если я правильно поняла. Я даже выучила наизусть то, что он мне говорил по этому поводу: «Мы еще даже не знаем, что такое коммунизм. Мы его даже не видим. Мы видим только Сталина. Мы сможем увидеть истинное лицо коммунизма только после падения Сталина. Я думаю, что без Сталина коммунизм устремится к гуманному будущему, Соединенные Штаты начнут развиваться в том же направлении путем обратной эволюции, и в точке их встречи возникнет наконец истинная цивилизация, вероятно, самая прекрасная из всех, которые знало человечество. . . » Он пел мне об этом в 1952 году и с тех пор, как вы знаете, история признала его правоту. Он был одним из тех ясновидцев, которые никогда не ошибаются и обладают интуитивным пониманием будущего. К тому же он очень любил смешить других. Он даже называл это «честью быть человеком». Да, в его понимании это значило уметь оставаться смешным. Что делать, мне не повезло. Я могла бы полюбить пьяницу, жулика, наркомана, бандита. . . так ведь нет! Надо же было такому случиться, чтобы это был идеалист. За два дня до его отъезда я, помню, думала, глядя на этого героя с мягкой улыбкой, прекрасно смотревшегося на фоне звездного неба, что на Голливуд клеветают, когда называют его «фабрикой грез», что существуют другие фабрики грез, куда более гнусные, куда более прогнившие, куда более преступные. Сегодня я говорю это как мать. А тогда, звездной ночью, стоя рядом с тем, кто был еще здесь, но чью душу и тело уже поглотила бездна политических высот, это отвратительное братство врагов, размышляя о котором, нельзя не задаться мыслью, а не является ли оно творением какого-то злого духа, я думала с женской злобой, способной, быть может, когда-нибудь породить мир, править которым будут женщины, что мы составим идеальную пару, чету звезд, и что идеологические шоры ни в чем не уступают другим, когда речь идет о кино, комбинированных съемках, спецэффектах, фотогеничности, чарах и обольщении. . .

– Жак, когда я была маленькой семилетней школьницей и училась в Париже, учительница преподавала мне то, что тогда называлось «уроками дела». У меня была книжка с картинками и подписями. Рисунки изображали крестьянина на гумне, пекаря у печи, домохозяйку на кухне, собаку, встречающую своего хозяина. . . Я старательно переписывала в тетрадь эти уроки: «Крестьянин сыпает зерно в гумно». «Пекарь печет хлеб в своей печи». «Хозяйка готовит обед для семьи». «Собака радостно встречает своего хозяина». И теперь мне кажется, что тот скромный школьный учебник вобрал в себя всю правду мира, которую мы забыли, которую мы потеряли, и сегодня лишь старая детская книжка и голос поэта другой эпохи осмеливаются сказать: «Господи, Господи, такова жизнь, простая и спокойная. . . »

Он молчал. Вежливо, мягко, очень серьезно, потому что никогда нельзя относиться с иронией к детям и поэтам. «Прошло уже больше двадцати пяти лет, но я прекрасно помню те трагические моменты, когда женщина в последний раз безнадежно пыталась удержать этого политического утопленника, жертву идеологического кораблекрушения. Я помню также, как в какой-то момент, не в силах выразить свое возмущение и боль, я подняла руки, словно держала фотокамеру и пыталась найти лучший ракурс для его мужественного и вдохновенного лица на фоне звезд. Исторический портрет Жака Рэнье, человека, который спас коммунизм от Сталина и тем самым предотвратил вторжение в Венгрию и Чехословакию, сделал возможным триумф восстания в Будапеште и весеннего восстания в Праге, и, конечно, только теперь я знаю, насколько он был тогда смешным со своей духовной красотой и непоколебимой верой в примирение идеологий и людей, поскольку, говорил он, «люди редко терпят неудачу, когда речь идет о том, чтобы быть похожими друг на друга». Мне так и не удалось найти слова Горького, первоисточник которых выветрился из памяти самого Рэнье, – полагаю, эта фраза взята из переписки писателя, – о том, что «грустные клоуны исполняют свой идеалистический номер на арене капиталистического цирка», но они превосходно подходили ему. Конечно, теперь мы знаем, что, когда те же вдохновенные клоуны исполняют тот же номер на арене марксистского цирка, они заканчивают Гулагом или психиатрической лечебницей. Они такие смешные, эти клоуны. Соль земли. Я очень любила ею, любила за то, что больше всего ненавидела в нем, что отняло его у меня. Любопытный парадокс: любить человека за то, что хотел бы изменить в нем. У него была очень фотогеничная душа. Это теперь фотогеничность вышла из моды. В наши дни кинематограф не любит красивых лиц, какие были у Роберта Тэйлора, Кларка Гейбла, Кэри Гранта. У наших сегодняшних звезд физиономии Аль Пачино, Де Ниро, Дастина Хоффмана. Как видите, моя злость не смогла постареть. Я хотела родить от него ребенка, это был единственный способ хоть как-то сохранить его, не потерять окончательно. Я высчитывала день, определенный период месяца, и в моих объятиях расчета было едва ли не больше, чем страсти. Я добилась своего, и это была моя единственная женская победа. У меня красивый улыбчивый малыш с таким ясным взглядом, который потрясает меня и заставляет опасаться худшего: он напоминает голубое подмигивание горизонта. О Господи, не дай ему пойти по стопам отца! Я назвала его Жаком-Рэнье. И если уж ему суждено быть похожим на отца, то надеюсь, по меньшей мере, что он найдет хорошие роли в Голливуде, а не в Мекках идеологических шор. Очевидно, я стала несколько желчной. Но я считаю, что во имя Истины люди творили такие чудовищные вещи, что в конце концов ложь и фальшь обрели ауру смиренной святости. У нас, по крайней мере, признают, что обманывают, и не посылают статистов на войну умирать по-настоящему. Все, что есть фальшивого на Западе, пахнет Голливудом, но все, что есть фальшивого в Москве, пахнет Гулагом. Главное – не доля истины и не доля лжи, а доля наименьшего зла. Когда-нибудь, изучая остатки нашей цивилизации, археологи-инопланетяне решат, что нашими по-настоящему «великими людьми» были те, которые причинили меньше всего бед. Возможно, в Пантеоне будущего можно будет увидеть портреты Эррола Флинна, Гари Купера, Карлтона Хестона с надписью «Они, по меньшей мере, только притворялись». Я хотела крикнуть ему: пусть они занимаются своими «скачками вперед», пусть скачут с замечательной уверенностью в своей правоте, она-то и приведет их прямо в болото сомнения. Уверенность всегда была лучшим способом ошибаться. Пусть они расцветают в своей уверенности, и сомнение придет к ним как логическое завершение их пути. Пусть они упиваются своей твердостью, силой, сталью: в конце их ждет вкус хрупкости. Они напрасно сражаются с этой повсюду проникающей женственностью. Пусть они отсчитывают время веками: к ним придет такая тоска по секунде, по мгновению, что им понадобится вся наша дружба, чтобы не разнести вдребезги то, что они построят. От их сооружений останется

только скромная любовь к тому, что нельзя построить. Именно на вершине своего творения они внезапно признают поражение, и тогда его строительство можно будет считать завершённым. Они – китайцы и русские – столько требуют от самих себя, что снисходительность и терпимость придут к ним просто как осознание самих себя, как сострадание к самим себе. «Мирное сосуществование» означает время, которое необходимо им и нам, чтобы измениться. Ещё одно усилие, ещё один «долгий марш», ещё одно «ух!», сопровождаемое хрустом костей, и они наконец услышат наши женские голоса и прислушаются к ним. Я знаю: это говорит женщина, жалость, нежность, женское терпение. Но время женщин ещё не пришло, и мне пока не на что рассчитывать. Уезжай. Самая старая мужская музыка – песня отъезда. Женские голоса – это всего лишь эхо мужской песни, мужского мира и мужских несчастий. Вот то, что я тогда не говорила ему, поскольку нет смысла бороться с законом, единым для всех Голливудов: фильмы-катастрофы, приносившие доходы с незапамятных времен, строятся вокруг мужчин-звезд. . . »

– Почему ты смеешься, Энн?

– Вы, мужчины, забрали себе все главные роли, думаю, уже пришло время давать их женщинам.

XXIII

Вилли лежал в постели с широко раскрытыми глазами. Он пытался думать о практических вещах: Россе, контрактах, киностудии в Голливуде, бомбардировавшей его телеграммами угрожающего содержания, о журналистах, уже почувствовавших запах паленого: два репортера постоянно дежурили, сменяя друг друга, в холле отеля, и, когда он выходил, то не мог избавиться от впечатления, что за ним следят. Но у него перед глазами стояла повисшая между небом и землей тропа, ведущая в Горбию, и медленно идущая по ней целующаяся пара. Вилли попытался улыбнуться, вычеркнуть из памяти этот абсурдный образ нежности и слащавой сентиментальности, подобно тому, как он крикнул бы «Стоп!» на съемочной площадке, если бы актеры осмелились навязать ему сцену, пронизанную подобной жалкой банальностью. Но делать было нечего: стереотипы всегда отличались устойчивостью.

Вилли закурил, встал с постели и лихорадочно оделся, не имея ни малейшего представления о том, что будет делать. У него оставался лишь один выход – Сопрано. Ему следует найти Сопрано, только он мог вытащить его из этой истории. Но где? Как? Существовал ли он вообще? Ну, конечно же, существовал: это факт. Белч существовал. Мафия существовала. И, несомненно, у них всех был босс, еще более влиятельный и всемогущий, у которого повсюду имелись свои люди, следившие за порядком. Сопрано или кто-нибудь другой – неважно. Нужно было кого-то найти, и немедленно.

Он надел смокинг и посмотрел на себя в зеркало в ванной комнате: все было при нем – насмешливая гримаса и отвлеченный взгляд; его лицо, словно вырезанное из слоновой кости, несло на себе отпечаток некой негритянской красоты, сродни той, что свойственна деревянным маскам бенинских воинов, но латинизированной в испанском духе. Курчавые волосы цвета воронова крыла, казалось, настоятельно требовали золотого кольца Яго в мочке уха, но до этого Вилли никогда не доходил: в мизансцене ничего нельзя чрезмерно подчеркивать, сам экран и так обладает эффектом преувеличения. Если он не мог найти Сопрано, чтобы избавиться от соперника, придется поискать кого-нибудь другого: на Лазурном берегу должно хватать подонков, готовых на все ради денег. Он почувствовал себя лучше. Астма никак себя не проявляла. Он снова искусно импровизировал, используя свой талант режиссера-постановщика.

Вилли спустился в холл и попросил кассира выдать ему наличные по чеку. Кассир посмотрел на чек, и на его лице появилось выражение досады и разочарования.

– Сожалею, месье Боше, но такую сумму я не могу выдать.

– Я собираюсь поиграть в баккара. Мне нужно как минимум столько.

– Мы совершенно не сомневаемся в вашей подписи, но наша фирма придерживается принципа никогда не создавать проблем знаменитостям из числа нашей клиентуры возможными судебными исками. . . Это принцип конфиденциальности.

– Что же мне тогда делать? Банки уже закрыты.

Служащий поднял руки.

– Кому-нибудь другому, месье Боше, я бы напомнил о существовании ювелирного магазина. . . специализированного, который постоянно работает рядом с казино. Но, естественно, вас это совершенно не заинтересует.

– Спасибо, – поблагодарил Вилли.

Он улыбнулся. Какая простая и замечательная идея. Ему следовало бы сразу об этом подумать. Он поднялся в свои апартаменты и, насвистывая, прошел в комнаты Энн. По своей

циничной грубости найденное решение идеально соответствовало тому образу, который он создал для себя и теперь тщательно пестовал. Вилли открыл сейф и достал драгоценности Энн: одно только жемчужное кольцо потянет на миллион, а за такие деньги, в отсутствие Сопрано, он обязательно кого-нибудь да найдет. В конце концов, он действовал в интересах Энн, с учетом своих интересов, конечно. Таким образом, ее участие в этом деле было совершенно естественным. Он сунул кольцо в карман и поехал в «Казино де ля Медитерране». Ювелирный магазин он нашел сразу же за казино, и старый армянин согнулся над колье.

– Сегодня будет большая игра, – заметил он.

– Они еще ничего подобного не видели, – заверил его Вилли.

Они быстро заключили сделку.

– Вы можете забрать кольцо в течение сорока восьми часов, – сказал ювелир. – Вы потеряете только четыре процента.

Вилли взял триста тысяч франков.

– Не могли бы вы принять остальные деньги на хранение?

– Это хорошая предосторожность. И потом, она позволяет немного проветриться между партиями.

У ювелира был непомерно длинный нос, и Вилли с восхищением смотрел на него: этот нос казался ненастоящим.

Вилли забрал чек и оказался на улице Франс с пачкой денег в руке, которые он намеренно держал на виду. Рано или поздно на них должен был клюнуть какой-нибудь подонок.

Шла предпоследняя ночь карнавала, и толпа, схлынувшая с площади Массена, рассасывалась по ночным заведениям и кафе; нервно возбужденные люди, словно боясь потерять свой задор, искусственно поддерживали его теперь криками, суетой и смехом. На улицах было больше людей в масках и карнавальных костюмах, чем в предыдущие вечера: правление его Величества Карнавала подходило к концу, и народ разбрасывал конфетти полными пригоршнями, словно это была стремительно обесценивающаяся мелочь; шум стоял невероятный, смех становился все более громким и резким; накладные носы, бороды, остроконечные колпаки; пьеро, шуты и клоуны скакали в пыли, держась за руки; повсюду царил атмосфера горячего возбуждения, присущего всем режимам накануне падения. Девушка в гусарском кивере из серебристой бумаги, идущая под руку с одетым во все белое кондитером, остановилась перед Вилли и показала на него пальцем:

– Посмотрите-ка на него. Что он делает с этими деньгами в руке?

– Мадмуазель, – ответил Вилли, подмигивая ей, – я ищу человека.

– Свинья, – сказала девица.

Вилли уже попытал счастья в нескольких барах. Он входил, облакачивался на стойку и делал вид, что пересчитывает деньги. Сначала он думал прикинуться пьяным, но ему не хотелось, чтобы его посчитали беззащитным, ему нужен был человек, готовый на все, настоящий убийца: его не устраивал тип, готовый лишь оглушить его. Он уже не знал, чего хотел больше: свести счеты с собственной жизнью или воспользоваться услугами наемного убийцы, чтобы устранить своего соперника. Впрочем, этот означало одно и то же. Он хотел, чтобы ему помогли выйти из тупика, вот и все. Какое-то время он светил деньгами, потом выходил. Но эта уловка не срабатывала. Никто не шел следом за ним. Вилли почувствовал отвращение. И тем не менее он очень ясно представлял себе сцену и физиономии типов, которым доверил бы сыграть ее. Выходя из очередного дансинга, Вилли все-таки заметил субъекта, скользнувшего следом за ним. С бешено колотящимся сердцем, он свернул в темный переулок, счастливый от того, что еще не лишился чувства страха. Человек приблизился к нему, держа руки в карманах, и ловким движением сунул под нос Вилли пачку фотографий.

– *Dirty pictures*, – сказал он. – *Very dirty*.*

– *I am in dirty pictures myself*, – ответил Вилли. – *Very dirty***

Субъект подошел ближе.

– Соотечественник? И все же я бы хотел, чтобы вы взглянули. . .

Он продемонстрировал свою коллекцию.

– Поймите меня правильно, – сказал он. – Это не только ради денег или стаканчика, хотя, если бы мне его предложили. . . Чтобы установить человеческий контакт. . .

– Добрый вечер.

– Так что, Вилли, неужели и в самом деле нет способа вытянуть из вас хоть слово?

Журналист.

– Отлично! – сказал Вилли. – Хорошо сыграно, приятель. Я почти клюнул.

– Если вы ничего не хотите говорить, Вилли, значит в том, что поговаривают люди, есть доля истины.

Вилли мило ему улыбнулся.

– Ну и о чем же они поговаривают?

– О том, что самая дружная супружеская пара в мире стоит на грани развода, – ответил незнакомец.

«Выстрел наугад», – подумал Вилли.

– Не слишком на это рассчитывайте. Однако, приятель, мне очень понравилось ваше представление о том, что меня можно вызвать на откровение, показав порнографические снимки. Видите ли, вы принимаете меня слишком всерьез. Журналисты чересчур сильно верят в Вилли Боше, забывая при этом, что сделали его они сами.

Вилли развернулся и пошел прочь. Он был почти уверен, что журналист «стрелял» вслепую, но так тоже можно было убить. Тут он ничего не мог сделать. Он больше не искал Сопрано: после этой встречи он снова был по уши в дерьме. Вилли зашел в «Сентра» и тут же увидел в баре двух журналистов, которые накануне брали у него интервью. Он понимал, что это было совпадением, но тем не менее почувствовал, что у него начинается крапивница.

– Привет, Вилли, что вы здесь делаете?

– Я вышел из казино. Вы не видели мою жену? Я потерял ее в суматохе.

– Не видели. Выпьете стаканчик?

– Нет, пойду ее искать. Если вы ее увидите, скажите, что я вернулся в игорный зал.

– О'кей.

Не задерживаясь в баре, он рассовал деньги по карманам и вошел в казино. Вилли вдруг вспомнил, что сказал ему портье в отеле: этим вечером в казино проводится бал «Веглион» – самый большой бал-маскарад года. Может быть, здесь будет Энн в карнавальном костюме, и, может быть, ему удастся приблизиться к ней и прошептать «я тебя люблю», оставаясь при этом не узнанным. У него не было пригласительного билета, но его с готовностью пропустили на бал Масок, оказав знаки внимания, на которые мог рассчитывать человек, выглядевший, как Вилли Боше. Люстры придавали залам искрящееся величие воздушного праздника. Вилли бродил из зала в зал, но Энн нигде не было, она не пришла, хотя это был последний бал сезона. Оркестр играл только вальсы, и каждый раз, заслышав звуки музыки, ему казалось, будто Энн отказала ему в танце. В конце концов, Вилли направился к выходу. Он подоспел к самому разгару конфликта: контролер не пускал на бал господина, одетого в костюм кюре.

*Неприличные фото. Очень неприличные (англ.).

**Я сам занимаюсь неприличным бизнесом. Очень неприличным (англ.).

– Я не могу вас пропустить в таком виде. Вы прекрасно знаете, что допустимы только приемлемые маскарадные костюмы. Мы не можем шокировать людей.

– Но это вовсе не маскарадный костюм, – запротестовал священник.

Он выглядел честным человеком, который желает только одного – быть понятым окружающими.

– Я настоящий кюре из Жиана – деревни, что на Большом Карнизе, выше Сент-Анэ. Я специально приехал, чтобы немного потанцевать.

Оторопевшие люди в растерянности смотрели на него. Даже неверующие испытывали такое чувство, будто им нанесли удар ниже пояса. Каждый смутно воспринимал это как личное оскорбление. Дело не в религии, раздавался ропот. Дело в том, что каждая вещь должна находиться на своем месте, на том, которое ей отведено. Люди переставали понимать, кто есть кто, и это отрицательно сказывалось на моральных устоях. Отныне ни на что нельзя было рассчитывать, вот так.

– Послушайте, сударь, – продолжал умолять контролера кюре, – пропустите меня. Я не в маскарадном костюме – я просто пытаюсь дискредитировать себя.

Вилли почувствовал в себе восхитительную легкость: добряк кюре позволил ему сбросить с души по меньшей мере сотню килограммов.

– Не можете же вы вечно продолжать проповедовать ваш антиклерикализм! – негодовал кюре.

Он начинал скандалить, грозил написать своему епископу и, в целом, вел себя так, словно хотел растоптать все святое и впутать всех в некрасивую историю. Вилли почувствовал себя лучше: у него появилось впечатление, будто он нашел себе партнера. Он подмигнул кюре, и тот ответил ему тем же. Люди чувствовали себя не в своей тарелке: они впервые видели, чтобы кюре подмигивал с таким вызывающим видом, это было ужасно. Они теряли ощущение безопасности.

– Не обращайтесь на него внимания, – сказал Вилли. – В такое состояние его привели романисты-католики. Кого вы все-таки изображаете, старина? Грэхэма Грина? Мориака? Достоевского?

– Так, значит, вы меня не пускаете? – орал кюре. – Предупреждаю, если вы не пустите меня танцевать вальс, я натворю бед. Я пойду предаваться пороку со шлюхами. Я нажрусь дерьма! Будете у меня знать!

Люди были в ужасе. Наверное, было бы все же лучше пустить его танцевать вальс. Тем самым можно было еще спасти какие-то приличия. Все страдали молча, особенно представители свободных профессий. С их точки зрения, речь, действительно, шла об уважении к человеческой личности. Им казалось, что они теряют лицо. Вилли внимательно посмотрел на кюре, желая убедиться, не Бебдерн ли это в новом обличье, но нет, этого человека он видел впервые. А это доказывало, что сопротивление крепнет. Люди больше не желали молчать, когда с них заживо сдирали кожу. . . Борьба за честь набирала обороты. Очевидно, было немало таких несчастных, для кого карнавал стал отдушиной, в которую они могли просунуть голову, чтобы вдохнуть чистый воздух, прежде чем вернуться в привычную затхлую атмосферу. Они исполняли маленький пируэт и три шажка, затем поднимали хай, с помощью шутовства освобождались от тяжести мира, а потом возвращались туда, откуда пришли. Вилли рассматривал кюре – фальшивого или настоящего – с легкой иронией, или, скорее, с чрезмерной серьезностью, свойственной профессионалам в отношениях с любителями. Он повел его в кафе выпить по стаканчику. К удивлению Вилли, едва устроившись за столом, кюре – фальшивый или настоящий – достал из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой, потом затушил ее и, поднеся к носу, с мечтательным видом шумно втянул в себя воздух.

– Хорошо, – пробормотал он, – очень хорошо!

– Сера, да? – спросил Вилли. – Запашок ада?

Кюре вздохнул и взял новую спичку.

– Дайте-ка мне одну, – попросил Вилли.

Наслаждаясь серной вонью, они спалили весь коробок, а официант с круглыми глазами бродил вокруг них, не решаясь подойти, чтобы взять заказ.

Потом кюре поднялся, сунул в руку Вилли полный коробок и, неприкаянный, тоскливо потащился к выходу. Завтра он вернется к себе и будет заниматься тем, чем занимался и раньше. Вилли проводил его признательным взглядом: мир был полон добрых малых, замечательных партнеров, желавших лишь одного – бороться бок о бок с вами.

Он вышел на улицу, и морской воздух обдал его своей свежестью. «Энн, – подумал он. – Энн. . . » Не существовало такой *commedia*, которая могла бы освободить его от этой невыносимой реальности. Он достал из кармана деньги и снова попытал счастья в одном или двух кафе, в открытую демонстрируя пачку банкнот, но на эту приманку никто так и не клюнул. И только около двух часов утра, выходя из бистро на площади Гримальди, ему показалось, что за ним кто-то увязался. Сердце Вилли забилось сильнее от ликования и сбывшегося наконец ожидания. Он быстро обернулся и увидел два силуэта, которые тут же остановились. Он свернул в пустынный переулок старого города, который спал, не тронутый карнавалом. Только кое-где перед дверями на мостовой лежали редкие кружочки конфетти. Вилли по-прежнему слышал за спиной шаги, но оборачиваться не решался. Чтобы придать решимости преследователям, он прикидывался пьяным. Потом он сделает вид, что защищается: удар ножом, и все наконец будет кончено. Качаясь и напевая что-то невнятное заплетающимся языком, он шел через созданные лунным светом, ночью и фасадами домов в итальянском стиле ирреальные декорации, которые, казалось, были готовы к смерти Пьеро или триумфу Арлекина. Шаги за спиной стали ближе, и к Вилли внезапно вернулись восхитительные страхи детства; он колебался между страхом и колдовством, желанием убежать и желанием играть. Он находился на окраине старого города, перед портиком, который выходил на море, залитое лунным светом, возвышаясь над пустыми рядами рыбного рынка. Вилли с наслаждением втянул в себя воздух: если ему суждено умереть здесь, то это будет настоящий апофеоз; он уже предвкушал, как отдаст Богу душу в атмосфере, пропитанной неистребимым запахом рыбы. Он остановился, и почти в этот же момент его настигли два подозрительных типа. Вилли инстинктивно обернулся, увидел красно-белый свитер, маску. . .

– Привет, Вилли, – услышал он чистейший американский говор. – Полагаю, вы не собираетесь топиться в море из-за того, что от вас ушла жена? Шутки в сторону, что в этой истории правда, а что вымысел? Где она и с кем?

Пока субъект говорил, его фальшивый нос, торчавший из накладных усов, мелко подрагивал; его компаньон сдвинул маску назад, словно простую фетровую шляпу, и Вилли увидел его истинное лицо – бледное, невыразительное, плоское. Он даже был в очках. И, несомненно, именно очки заставили Вилли взорваться от ярости. Они вызывали у него такое ощущение, будто его выследили, схватили и выставили на всеобщее обозрение во всей наготе. Сжав кулаки, он бросился на журналистов.

– Подонки! Я покажу вам, как оскорблять мою жену! На, получи!

Он легко справился с обоими и ушел, оставив их чертыхаться под перевернутым рыночным прилавком. На площади Гримальди Вилли сел в такси и велел везти его в отель. На просьбу дать ему ключ, ночной портье ответил:

– Час назад к вам в номер поднялись ваши друзья. Ключ у них.

«Беддерн», – с досадой подумал Вилли. Он поднялся наверх и вошел к себе в апартаменты.

В гостиной горел свет. В глубине комнаты липом к двери под ярко сверкающей люстрой сидел, скрестив ноги, какой-то незнакомец в белой шляпе и с зубочисткой во рту; во всем его облике, начиная с лаковых туфель и кончая выбритым до синевы подбородком, было нечто бесконечно вульгарное. Их взгляды встретились, но незнакомец, посасывая свою зубочистку, даже не шелохнулся. Рядом с ним стоял субъект, которого Вилли узнал незамедлительно: на нем был тот же серый котелок, тот же костюм в клетку, а лицо, хоть немного и побагровевшее, хранило все то же непроницаемое выражение, как и тогда, когда он свалился на него с дерева при первой встрече.

– Сопрано, – лаконично представился Сопрано.

Рука Вилли играла в кармане со спичечным коробком. В воздухе витал едва ощутимый запах серы. Вилли уже не знал, был ли он пьян или, напротив, в полном сознании. Он улыбнулся, и от этой улыбки на его щеках и подбородке появились ямочки, которые у всех ассоциировались с цинизмом, ибо он уже давно вышел из детского возраста. Ему лишь хотелось, чтобы Сопрано выглядел менее вульгарным, более таинственным, более мрачным, более... более стилизованным. Если бы он был постановщиком фильма, то выбрал бы на эту роль кого-нибудь другого. Он предпочел бы кого-нибудь более печального, вроде Конрада Вейдта или Питера Лорра. Но от реальности невозможно требовать слишком многого. К счастью, был его компаньон.

– Барон, – хриловатым голосом произнес Сопрано, вынув изо рта зубочистку и кивнув в сторону своего напарника.

... К счастью, был его компаньон. Он стоял, опираясь на трость, с потухшей и смятой сигарой во рту, при виде которой напрашивалась мысль, что она оказалась на пути оглушительной оплеухи; в сером котелке, сдвинутом на ухо, и целым табуном лошадей, преодолевающих препятствия, на его жилетке канареечного цвета; при этом он напоминал статую, охваченную мелкой дрожью и готовую упасть в любое мгновение.

Он выглядел необыкновенно напряженным, и Вилли подумал, уж не раскат ли невероятного, гомерического хохота, способного смести с лица земли весь мир, пытался сдержать тот, кого Сопрано называл «бароном».

XXIV

После их ухода Вилли так и не заснул. Он горел нетерпением, уверенный, что на этот раз его выход увенчается полным успехом. По этой причине он предложил принести деньги на виллу Сопрано прямо ночью. Он не захотел выкладывать перед ним все карты, это было слишком сентиментально, слишком романтично. Они договорились, что убрать нужно будет Рэнье, но Вилли был уверен, что Сопрано его правильно понял. Он был убежден, что сицилийский киллер инстинктивно понимал сценарий, в том числе и то, что Вилли умолял его сделать: наконец-то избавить его от самого себя. Около десяти часов утра он вызвал портье, чтобы тот позже засвидетельствовал, что господин Боше уже был довольно пьян и попросил раздобыть ему костюм Пьеро для бала, который должен был состояться вечером в муниципальном казино. Портье немедленно отправил посыльного в магазин, и спустя пару часов Бебдерн застал Вилли за примеркой костюма.

– Что это? – удивился он. – Какой-то новый порок?

– Это карнавал, на тот случай, если вы этого не знали, – не скрывая досады, ответил Вилли.

В этот момент ему совершенно не хотелось видеть Бебдерна. Взгляд его печальных и все понимающих глаз вызывал у Вилли приступ чиханья. Но сейчас Бебдерн был здесь, перед ним, и Вилли воспринимал его как неприятный раздражающий фактор,

– Я пришел попроситься с вами, Вилли. Больше вы меня не увидите.

– Не может быть! – удивился Вилли. – Я думал, что это на всю жизнь.

– Представьте себе, я понадобился в другом месте, – сказал Бебдерн. – Не знаю, в курсе ли вы, но сейчас снимается грандиозный фильм, «Осада», «Защита Запада», «Свободный мир». . . Покойники еще не остановились на точном названии. Это совместное производство СССР – США под эгидой Объединенных Наций. Фильм широкоэкранный, цветной, со стереозвуком и спецэффектами: напалмом, бактериологическим оружием и, возможно, с атомными бомбами. Мне предложили роль: им нужны шуты. Прощайте, великий Вилли. Я завидую вам: никогда бы не подумал, что можно до такой степени отдаваться собственной судьбе.

Он рассмеялся глухим, хрипловатым смехом.

– Вы счастливчик, Вилли, вам наставил рога один человек. Меня же сделали рогоносцем все человечество. . . и прекрасные идеи. Они есть, Вилли, они есть, что бы там ни говорили. Так вот, когда они наставляют вам рога. . . Это что-то! Чем они прекраснее, чем больше вы их любите, тем больше они вам изменяют. Такое их поведение предопределено историей. Итак, прощайте. . .

– Но, черт побери, – сказал Вилли, – если вы хотите стать рогоносцем, то во Франции это сделают не хуже, чем в Корее!

– Это человек, который хочет наказать идеи, когда они плохо себя ведут, – сказал Ла Марн, думая о Рэнье. И потом, если нет братства, нужно довольствоваться братом.

Он пожал Вилли руку и улыбнулся.

– Конец развлечению. Ведите себя прилично, король киноленты.

После его ухода Вилли пришлось выпить бутылку шампанского, чтобы избавиться от плохого привкуса, оставшегося во рту от посещения Бебдерна. Он почувствовал, как реальность коснулась его своим крылом. Он зашел к Гарантье, но того на месте не оказалось. Разве что им был кактус, стоявший на столе у окна. Или же он стал совершенно прозрачным по

причине своей безликости. Вилли кругами бродил по апартаментам, тщетно борясь с неудержимо просветляющимся сознанием и реальностью. Сопрано не собирался убивать его, он хотел оставить его по уши в дерьме, задыхающимся, как рыба, вытасченная из воды. Он собирался прикарманить деньги и сбежать, не замарав руки кровью. В конце концов, Вилли разнервничался до такой степени, что поступил вопреки категорическому запрету своего врача: проглотил несколько таблеток амфетамина и запил их спиртным, что вызвало хорошо знакомый ему эффект раскрепощения. Спустя полчаса он уже чувствовал, что владеет собой, да и всем миром в целом. В четыре часа пополудни Вилли вышел из отеля «Негреско» через черный ход, сел в такси и велел отвезти его в Монте-Карло. В туалетной комнате отеля «Пари» он надел костюм Пьеро и сел в автобус, идущий до Мантона. Наступления сумерек он дождался, бродя по берегу моря с размалеванным белилами лицом. В небе рассыпались огни фейерверка, и он показывал их какому-то ребенку. Малыш был счастлив, хлопал в ладоши и смеялся при каждом новом залпе. Потом Вилли захотел отвести его к матери, но матери не было, как, впрочем, не было и самого ребенка. Он пешком отправился в Рокбрюн. Ему было очень страшно. И это было замечательно. Ничего подобного он не испытывал с девятилетнего возраста, когда провел ночь на кладбище. Сопрано ждал его на месте. Лунный свет в сочетании с розовыми барочными фасадами окружающих домов создавал впечатление оперной декорации, полной иллюзорности. Они вошли в виллу. Барон в рубашке с закатанными рукавами и жилетке, с котелком на голове и сигарой во рту раскладывал пасьянс при свете свечи. Он напоминал хозяина салуна из фильма о Диком Западе. Вилли достал деньги и сделал вид, что пересчитывает их. Сопрано пристально следил за ним, потягивая виски, затем предложил ему стаканчик, несомненно, чтобы подбодрить его, прежде чем прикончить.

Все происходило именно так, как он предусмотрел в своем сценарии. Вилли подумал о том, что они сделают с его трупом. Он сочинил сотни аналогичных ситуаций, будучи еще никому не известным наемным сценаристом в Голливуде. Вилли обязательно хотел знать, как они поступят с его телом. Иначе это все равно, что уйти из зала, не досмотрев фильм. Он не знал, как Сопрано собирается от него избавиться, но, в любом случае, особой изобретательности он не проявит. К счастью, Вилли предусмотрел и это. Он захватил с собой чемодан Энн, помеченный ее инициалами – золотыми буквами Э и Г на черном фоне. Он рассчитывал, что его разрежут на куски – на этот раз и физически тоже – и в таком виде доставят в Управление детских благотворительных учреждений. У него имелась и другая версия сценария, еще более увлекательная. Несчастного Вилли все так же разрежут на куски и сложат в чемодан. Затем чемодан незаметно внесут в дом любовников, которые будут продолжать заниматься любовью рядом с бедным маленьким Вилли, разрезанным на куски и задвинутым в угол. Вилли очень хорошо видел себя в этой роли. Он уже заранее смаковал наслаждение, которое испытает при чтении газет на следующий день после обнаружения чемодана. Вот это кино. Хичкок мог отдыхать. Естественно, все зависело от постановки и выбора исполнителей, но Вилли сам собирался заняться этим и был готов просить Энн и ее любовника сыграть самих себя. Это будет тяжело, но чего не сделаешь ради искусства. Кино было его естественной средой обитания, именно там он мог дышать полной грудью.

– Ну давайте, – пролепетал он, обращаясь к Сопрано.

Он стоял рядом с открытым чемоданом, который смотрел на него своим круглым глазом. Вилли впервые видел, чтобы открытый чемодан выглядел таким образом. Он шагнул вперед, чтобы влезть в чемодан, но чемодана не было. Был только Вилли, стоящий с поднятой ногой. Он едва не упал, но Сопрано оказался рядом.

– Вам нужно немного поспать, месье Боше.

Только через день, когда Вилли в одиночестве проснулся на вилле после шестнадцатича-

сового сна, перед ним открылась истина.

Журналисты!

Как он не сообразил этого раньше?

НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ КАРНАВАЛЬНЫМ ВЕЧЕРОМ ЛЮБОВЬ РАЗЛУЧИЛА ЭНН ГАРАНТЬЕ И ВИЛЛИ БОШЕ.

Фотографии «идеальной пары». И рядом... фото настоящей пары, идущей по тропе на Горбио. Как же он сразу не понял, что означал тот здоровенный бинокль, висевший на шее «барона»? Ведь это старый фокус. Камера с телескопическим объективом. Достаточно было вспомнить того негодяя на верхушке дерева с биноклем у глаз: конечно же, он фотографировал.

Но это еще не все.

Вилли слышал свое свистящее дыхание так, словно рядом с ним стоял кто-то другой, страдающий астмой.

ВИЛЛИ БОШЕ НАНИМАЕТ КИЛЛЕРОВ, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЛЮБОВНИКА СВОЕЙ ЖЕНЫ.

ОБЕЗУМЕВШИЙ ОТ ЛЮБВИ И РЕВНОСТИ... ОТЧАЯНИЕ ВИЛЛИ БОШЕ. Я ПРОШУ УБИТЬ ЛЮБОВНИКА МОЕЙ ЖЕНЫ. ВОТ ЧТО НАМ СКАЗАЛ ВИЛЛИ БОШЕ.

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ, ЕСЛИ ВЫ УБЬЕТЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ВИЛЛИ БОШЕ.

РОКОВАЯ ОШИБКА ВИЛЛИ БОШЕ.

ОН ПРИНИМАЕТ ДВУХ ЖУРНАЛИСТОВ ЗА КИЛЛЕРОВ И ЗАКАЗЫВАЕТ ИМ УБИЙСТВО ЛЮБОВНИКА СВОЕЙ ЖЕНЫ.

Вилли рухнул в кресло и, запрокинув голову, закрыл глаза.

Все, пропал. Крышка. Всеобщее посмешище. Сопливый пацан в глазах всех и каждого.

Это называется работать рука об руку с прессой. Голливудские журналисты дают специальную премию тем кинозвездам, которые соглашаются сотрудничать с ними. На этот раз он ее честно заработал.

Скотина Белч. Он, действительно, обладал чувством юмора. Он продал его журналистам со всеми потрохами. Вилли казалось, будто он потерял друга детства.

Проклятая астма.

Вилли попытался расслабить галстук и расстегнуть воротник, но не нашел ни того, ни другого.

Они обвели его вокруг пальца. Все было разыграно, как по нотам. Они словно вышли из его последнего фильма «Золотой век» с Конрадом Вейдтом в главной роли. Образ барона, например. Вылитый Питер Лорр. Все было именно так. Немного стилизованный, в меру мерзкий. Экспрессионистский. С точно отмеренной долей сюрреализма и фантастики. Мэкки-Нож. Музыка Курта Вейла. Социальная фантастика о жизни отбросов общества. *Трехгрошовая опера*. Гнусный романтизм. Они слушали его очень серьезно, когда он предложил им, что сам придет с деньгами на виллу.

– Половина вперед, половина после выполнения работы. Я буду ждать. Вы понимаете, я должен быть здесь, чтобы утешить жену после...

Сопрано слушал его очень серьезно.

– На вас падут подозрения, это опасно, месье Боше. . . Человек вроде вас. . .

Голос хриплый, прерывистый. . .

– Меня будут подозревать в любом случае. . . Но доказать ничего не смогут. . .

Он рассмеялся.

– Затрудняюсь даже сказать, какие штрихи это добавит к моей репутации. . .

Вот что он сболтнул журналистам. . . Вне всякого сомнения, это люди Херста. . . Да, конечно. . . Они устроили ему ловушку. . . Херст жаждал его крови, как это было с Орсоном Уэллсом после выхода «Гражданина Кейна». . .

– Постарайтесь не упустить его. . . Если она не вернется в Голливуд, я разорен. . . Это так же просто, как. . .

Внезапно и совершенно неожиданно барон оглушительно пукнул, но эта незадача никоим образом не смутила его, он сохранял такой же достойный вид, как и раньше.

– Он расстраивается, – заметил Сопрано. – Это эмоции. Он хочет сказать, что было бы более естественно ликвидировать обоих.

Вилли почувствовал радостную дрожь: это было проявление романтичности, хорошо известная сентиментальность жителей Средиземноморья показывала свое мерзкое розовое рыло.

– Вот как? – насмешливо спросил он. – Неужели он настолько чувствителен?

– Барон – это личность, – ответил Сопрано. – Он человек воспитанный. Ему не нравится разлучать любящие сердца. Он считает, что так поступать нельзя.

– Он вам сказал это?

– Вы сами только что слышали. Это были эмоции. . . Он предпочитает убить обоих. Тогда они останутся вместе.

– Сожалею, но я придерживаюсь другой точки зрения. Моя жена приносит мне миллион в год, если не учитывать налогов. . . Это стоит некоторой неделикатности.

МОЯ ЖЕНА ПРИНОСИТ МНЕ МИЛЛИОН В ГОД, СКАЗАЛ НАМ ВИЛЛИ БОШЕ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛОЖИЛ НАМ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА УБИЙСТВО ЕГО СОПЕРНИКА, ФРАНЦУЗСКОЙ ЗВЕЗДЫ ЖАКА РЭНЬЕ, КАВАЛЕРА ОРДЕНА «УЧАСТНИКИ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ», ГЕРОЯ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ И ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ. . .

– Ну, – сказал Сопрано, – что до меня, то. . . Но таково мнение барона. А он человек чувствительный.

– Пипи, – произнес барон.

– Это эмоции, – заметил Сопрано. – Скоро пописаешь. Ты же видишь: мы разговариваем. Потерпи. . .

Барон сдержался только наполовину, тихонько пукнув несколько раз подряд.

Они воспользовались его же оружием. Его искусством, его кинематографическим стилем в атмосфере слегка свихнувшегося и насмешливого мира.

Вилли еще раз попробовал расстегнуть воротник и расслабить узел галстука, но безуспешно: и рубашка, и галстук лежали на полу. В ушах у него звучали слова врача, которые тот произносил при каждом визите: «Осторожно, Вилли, никаких амфетаминов в сочетании с алкоголем».

Вдруг он выпрямился и улыбнулся.

В голову ему пришла гениальная идея. Он не только восстановит высокий стиль, но и укрепит свое превосходство. Пусть сначала разразится скандал. **ВИЛЛИ БОШЕ ПЫТАЕТСЯ**

ПРИБЕГНУТЬ К УСЛУГАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УБИЙЦ И С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ОБРАЩАЕТСЯ. . . К ДВУМ ЖУРНАЛИСТАМ! Газеты вздохнули муссируют шокирующую новость. Потрясающая реклама.

И в этот момент Вилли объявляет о своем намерении *СНЯТЬ ФИЛЬМ НА ЭТУ ТЕМУ*. Всем сразу становится ясно: *ЭТО БЫЛ РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК*. Со всех сторон раздаются ахи и охи! Весь Голливуд восхищен. Чертов Вилли Боше, никто лучше него не может запустить новый фильм.

Он засмеялся. Дышать становилось легче. Все это с самого начала было рекламным трюком. Энн выступала в роли сообщницы так же, как и другое действующее лицо – французская звезда, участник движения Сопротивления. Реклама прежде всего. Было бы любопытно взглянуть на лица журналистов, которых провели, как воробьев на мякине, использовали как туалетную бумагу. Это апофеоз Вилли.

У него еще были сомнения относительно развязки фильма. Напрашивалось юмористическое решение, как раз в его стиле. Счастливый конец, любовь спасена – без ущерба для качества. В конце фильма Сопрано настолько покорен зрелищем любви, постоянно стоящей у него перед глазами, что решает убить не любовника, а мужа, не забыв при этом забрать его деньги, разумеется. Сделав дело, он скрывается вместе со своим другом; звучит музыка Дмитрия Темкина. Затемнение. Все устраивается должным образом. Энн выходит замуж за человека, которого любит. Гарантье является свидетелем ее счастья, счастья, которого он всегда желал ей в глубине души. Несколько слов о несчастном Вилли и финальная картинка: Вилли лежит среди камней, обретя наконец долгожданный покой. Он тоже счастлив, потому что любовь в конце концов все-таки восторжествовала.

Вилли смеялся и рыдал, – что одно и то же, – и это было лучшим доказательством качества фильма.

В воздухе пахло драпировкой, плесенью, странной смесью запахов кухни, румян и пудры. Это был запах реальности, мерзкой старой потаскухи. Если бы он сам выбирал актеров, то придал бы реальности облик старой сифилитички, черты которой – твердые, жестокие, безжалостные – не смог бы скрыть никакой макияж. Он попытался ослабить ее хватку на своей шее.

Вилли прислушивался, но выстрелы среди холмов ничего бы не доказали: это мог быть одинокий охотник, и все. Эти два типа вовсе не были убийцами. Они были журналистами.

«Получится замечательный фильм, – думал он. – Мое великое возвращение в Голливуд».

Но, несмотря на все усилия, ему не удавалось окончательно выстроить сюжет. Фактура ускользала. Она никак не укладывалась в рамки развития интриги.

Больше всего проблем возникало с образом Сопрано. Простота и безыскусность делали его удивительно реальным. Ужасное ощущение подлинности. Он прохрапел всю ночь рядом с бароном, с которым никогда не разлучался. Ближе к полудню он приготовил яичницу-глазунью и открыл коробку сардин. Фу, как вульгарно, банально, жалко. Никакого стиля, ни следа иронии. Он получил деньги и, поплеывая на пальцы, тщательно пересчитал их. В своей белой шляпе и чересчур широких брюках он выглядел настоящим. К счастью, был барон. Вилли достаточно было посмотреть на его удивленную физиономию, съехавший на ухо котелок, размочаленную сигару, которая, казалось, уже дня два торчала у него во рту, на его обтягивающие брюки в мелкую клетку, белые гетры и белую гвоздику в центре этого великолепия, чтобы ощутить во всем этом восхитительный элемент гротеска и фантазии, на которые жизнь была не способна. Вилли с наслаждением смотрел на него: вот он, объект искусства. Персонаж, слегка покачивающийся на своих невидимых опорах – честь? достоинство? отказ от унижительного предложения быть человеком? – с приподнятой бровью, телом, напряженным

от колоссального усилия избежать любого контакта с отвратительным миром – барон был выписан слишком ярко, чтобы быть настоящим. И вообще, все было ненастоящим. Не было ни убийц, ни журналистов, был только Вилли, который сочинял сюжет, работал над сценарием нового фильма в своем кабинете на Беверли Хиллз. Слишком много амфетамина. . .

Он закрыл глаза и на несколько мгновений почувствовал облегчение, которое испытывал лишь в отсутствие реальности и тогда, когда по-хозяйски правил миром, придуманным им же силой своего воображения, которое недруги называли мифоманией, но которое дало кинематографу столько шедевров. Однако тревога не проходила – навязчивая, пронзительная, как резкий крик обезьяны. Его сердце бешено колотилось в груди. Слишком много амфетамина.

Вилли поднялся и добрел до окна. Деревня с ее фальшивым мавританским духом, с фальшивыми лоджиями в стиле Ренессанса, с фальшивым итальянским барокко прыгала у него перед глазами при каждом приступе кашля. . . «Фальшь повсюду: видно, у меня были предшественники», – с насмешкой думал он.

Справа, выше деревни, среди оливковых деревьев вилась тропа на Горбио, и Вилли заметил на ней Сопрано и барона. Он предпочел бы не видеть их, но было уже поздно, и он тупо смотрел на них, пытаясь понять, что они там делают. Они уже должны были быть в Ницце, звонить в свои газеты. Может, они захотели еще раз сфотографировать влюбленную пару?

В этот самый момент он заметил бинокль, лежащий на стуле. Вилли в нерешительности замер. Ему представилась возможность убедиться в своей правоте. Достаточно было взять бинокль в руки и посмотреть, вмонтирована ли в него фотокамера.

Колебания были недолгими. Вилли схватил бинокль – камеры в нем не было. Он держал в руках самый обыкновенный бинокль.

Его пальцы дрожали, и ему никак не удавалось навести резкость. Фигуры Сопрано и барона плясали у него перед глазами, то приближаясь, то отдаваясь, то сливаясь, то разделяясь в абсурдном танце, который ему никак не удавалось остановить. Потом Вилли увидел, что они стоят за живой изгородью из шелковицы. Выше, на повороте тропы, на фоне неба и оливковых деревьев, появились Энн и Рэнне. Обнявшись, они неторопливо спустились к деревне. Сопрано раздвинул ветки кустарника и наклонился вперед, скрываясь в тени облаков, бегущих по склонам холмов. В руке он держал револьвер.

Вилли заорал, отшвырнул бинокль и помчался к лестнице.

Небо, сады и земля вокруг выглядели умиротворенными и счастливыми, на них никак не отражались человеческие потрясения. И первым чувством, которое испытал Вилли, торопливо карабкаясь в костюме Пьеро среди оливковых деревьев, была обида на безразличие мира, на его спокойный и непростительный абсолютный отказ паниковать вместе с испуганной мышью.

Он услышал выстрел.

Поднялся. Должно быть, он упал, раз ему пришлось подниматься. «Энн, Энн, – пытался кричать Вилли, – я этого не хотел, я только придумывал! Ты же меня знаешь, я только придумываю, вся моя жизнь от начала до конца была лишь выдумкой. В этом деле не было ничего настоящего, это очередной миф для Голливуда. . . Из этой истории получился бы замечательный фильм, настоящий триумф, я бы сам ставил его, и ты сыграла бы лучшую роль в своей жизни! Он получил бы «Оскара!» Вилли пытался проглотить комок, застрявший у него в горле, только нет такого горла, которое могло бы проглотить реальность. Нет, нет, этого не может быть, жизнь не может быть *такой!*

Он снова поднялся на ноги. Да, музыку нужно будет заказать Дмитрию Темкину, для «Трех гудков поезда» он сотворил настоящее чудо. «Это настоящее кино», – подумал Вилли и почувствовал, что наконец снова становится самим собой. Ему захотелось вытащить из кармана золотой портсигар и, достав из него сигарету, с сухим щелчком захлопнуть крышку,

как делал это Эрик фон Строхайм в фильме «Наваждение». Этот жест был необходим ему. Но у него не было портсигара и уже не оставалось сил на красивые жесты. Потом он нагнулся, поднял маленького Вилли и, нежно прижимая его к груди, отнес на вершину холма, в то место, которое называли Со-дю-Берже. Ему хватило сил и смелости, чтобы принести маленького Вилли туда, где море и небо сближались, расходились, сливались в одну бесформенную массу, и он почувствовал, что публика направила свои бинокли на арену, чтобы насладиться каждым мгновением его отчаяния и агонии. Потом он прижал маленького Вилли к сердцу, поправил ему волосы, вытер носик, глазки и прошептал слова колыбельной, которую так любил – единственные настоящие слова, что были ему известны:

Тротти, тротти, троттина,
Спи мой Вилли, спит в небе Луна,
Но если Вилли не будет спать,
Няня Луна его будет ругать,
Дядькам чужим пожелает отдать.
А вот негритенок
Полез на пригорок,
С пригорка свалился,
В колючки скатился,
Ой-ой-ой! Ай-ай-ай!
Ну-ка, Вилли, выручай!

Он ласково потрепал маленького Вилли по щечке, улыбнулся ему и сбросил с вершины скалы, чтобы научить его мечтать, любить и жить, а потом упал сам, чисто физически, с высоты метров пятнадцать, сожалея о том, что рядом никого не было, чтобы сделать фото.

Он пролежал там много дней, пока его искали по всем известным притонам.

В конце концов место его последнего пристанища выдали птицы.

XXV

В три часа пополудни они вышли из виллы и начали подниматься на холм, обходя деревню стороной. Барон шел твердым, уверенным шагом, не обращая ни малейшего внимания на колючки, цеплявшиеся за одежду и затруднявшие движение: он, как всегда, оставался выше всяких незначительных обстоятельств, и никакое препятствие, никакие царапины не могли помешать ему подняться наверх. Барон, качалось, был полон решимости добраться до вершины и остаться на тех высотах, к которым стремился с самого детства.

Сопрано сожалел, что взял его с собой. Предстоящая работа была не для такой выдающейся натуры. Он пытался оставить его с бутылкой виски в машине, но барон отказался. Он вышел из машины и пошел следом за ним. Вот она, дружба. И ей не прикажешь. Лицо барона было краснее, чем обычно, и несло на себе печать привычной непроницаемости, но сам он выглядел так, будто прилагал заметно больше усилий, чтобы сохранить ее.

Стояла ясная и почти безветренная погода, которую слегка разнообразил мистраль, неся с собой свойственную ему оживленность: кроны оливковых деревьев тихонько шелестели, словно мистраль считал свои деньги над их головами. Сопрано размышлял о том, что мог бы сделать, если бы был по-настоящему богат, если бы мог по-настоящему развернуться: для начала он купил бы для барона «Роллс-Ройс» с шофером в ливрее и королевского пуделя. Сопрано не имел ни малейшего понятия о том, что такое королевский пудель, но эти слова ассоциировались у него с истинным шиком. Он мог бы возить барона по знаменитым казино Сан-Ремо и Монте-Карло, сидеть рядом с ним и с гордостью смотреть, как тот, не моргнув глазом, проигрывает целое состояние в атмосфере всеобщего восхищения. Сопрано был уверен, что барон когда-то уже всего лишился, и, быть может, даже не один раз. Но он не сдавался и хранил надежду на то, что ему удастся вернуть утраченное. Должно быть, он был уверен, что в один прекрасный день вновь окажется на своем истинном месте, очень высоко, на вершине, окруженный почтением и заботой, и тогда, возможно, он примет Сопрано за своим столом и, быть может, даже позволит ему жить с ним.

Они добрались до развалин старой овчарни, находившейся в нескольких метрах от тропы за густыми шелковичными кустами, вымахавшими в высоту на добрых два метра.

– Ну вот, – сказал Сопрано. – Будем ждать их здесь,

Ветер перебирал своими легкими пальцами хвою сосен и листву оливковых деревьев, тени от облаков ползли по склонам холмов и ныряли на дно долин, в самую гущу пышной растительности. Они ели виноград, принесенный с собой в сумке, и видели внизу, у самой деревни, тот склон, на котором он вырос и где его собрали: он тоже был Эмбером, этот виноград.

– Дай мне еще гроздь. . .

Он протянул руку, но в сумке больше не оказалось Эмбера, и тогда он сказал:

– Завтра возьмем больше винограда, – и тут же пожалел, что бросил эту тень на землю и небо.

Завтра он уезжал. Завтра больше не было.

Она почувствовала страх, вызванный не столько его отъездом, сколько тем, что она все еще не была уверена. Нужно было потерпеть еще немного, но она уже сейчас пыталась почувствовать в себе изменения: изучала свое тело, грудь, живот, хотя это было абсурдом,

прошло слишком мало времени, еще ничего нельзя было определить. Но она надеялась. Она улыбнулась, приложила ладонь к щеке Рэнье и погладила ее, но и ласка, и улыбка предназначались вовсе не ему. На ее лице появилось слегка виноватое выражение, смесь триумфа и невинности, и Рэнье взял ее за подбородок и посмотрел ей в глаза.

– В чем дело? Что у тебя за секреты?

Она молча покачала головой, спрятала свою надежду за занавеской ресниц и с необычной тщательностью начала застегивать блузку. Она больше не стремилась убедить его, освободить от их влияния; был только один способ изменить его – воспитать его ребенка. «Это все, что мы можем сделать, чтобы попытаться изменить вас, – думала она. – Например, мы вполголоса, тайком нашепчем нашим детям о том, каким должен быть будущий мир. Нас, женщин, ничто не разделяет, и то, что не удастся сделать вам, выполним мы. Вы недостаточно нас любите, чтобы мы могли удержать вас, но вы всегда оставляете в наших руках будущее, которое от вас ускользает. И мы будем терпеливо, по-матерински, продолжать наш незаметный труд до тех пор, пока мир не станет воплощением добра и нежности».

– О чем ты думаешь?

– Я? – спросила она, широко распахнув большие невинные глаза. – Ни о чем.

Она поднялась и бросила последний взгляд на холмы. Пройдет двадцать или тридцать лет, и когда-нибудь маленькие Эмберы из деревни будут с удивлением думать, кто эта старая американка, которая приехала сюда, чтобы в одиночестве бродить в зарослях кустарника, и что она здесь ищет.

Они забрали плед и сумку и начали спускаться к деревне. Было четыре часа пополудни, и голубая предвечерняя дымка уже окутала землю. Они перебрались через ручей по прогибающейся доске и пошли по тропе вдоль развалин овчарни, живой изгороди из шелковицы и пересохшего родника... Ниже уже виднелись крыши Рокбрюна, потом деревня скрылась из вида, и остались только море и густые заросли шелковицы с разбросанными там и сям вкраплениями желтых пятен мимозы.

– Вот они, – сказал Сопрано.

В глазах барона мелькнул проблеск, который, в крайнем случае, мог бы сойти за осмысленное выражение. Своего рода просветление. Но, скорее всего, это было отражение неба, тем более что у барона были голубые глаза.

Сопрано дошел до поворота, убедился, что со стороны деревни никто не идет в эту сторону, и снова занял свое место за шелковичными кустами. Пара находилась еще метрах в пятидесяти, и нужно было подпустить ее как можно ближе, чтобы поточнее прицелиться. Они шли очень близко друг к другу, держась за руки, а Сопрано хотел быть абсолютно уверенным, что пуля не заденет женщину. Он не сомневался, что барон предпочел бы убить обоих, лишь бы не разлучать их, но тут ничего не поделаешь. Он поднял револьвер.

И в этот момент барон выстрелил.

Он стоял в нескольких шагах позади Сопрано и выстрелил, почти не целясь, просто направив кольт в его сторону. Сопрано отскочил назад и внезапно осел на землю, разбросав ноги в стороны. Барон со смущенным видом стоял перед ним с револьвером в руке. Сопрано прилагал невероятные усилия, чтобы понять, зачем барон сделал это, но ему не удавалось собрать мысли воедино, потому что мистраль все сдувал и уносил с собой, оставляя в голове лишь пустоту. Он оперся руками о землю и попытался удержаться в сидячем положении. Внезапно он подумал, что барон, должно быть, ранил его и, вполне вероятно, даже серьезно. Несомненно, он выстрелил случайно, рефлекторно... Сопрано не допускал и мысли о потере

друга. Но на его лице были написаны такое непонимание и такой печальный упрек, что барон сжалился над ним. Он решил успокоить Сопрано и привести окружающий его мир в порядок, чтобы тем самым облегчить его последние мгновения.

Он нагнулся над Сопрано, обшарил его карманы и достал пачку купюр.

Он даже начал пересчитывать деньги, слюнявя пальцы и стараясь выглядеть как можно более циничным, пока наконец не почувствовал, что Сопрано совершенно успокоился.

Сопрано, казалось, действительно все понял. Барон выстрелил в него из-за денег. Его лицо прояснилось, он улыбнулся, бросил на барона полный восхищения взгляд, попытался что-то сказать ему, но закашлялся и откинулся на спину. Он подумал, что этот сукин сын ранил его, должно быть, не так серьезно, как ему показалось раньше, потому что он почти не чувствовал боли. Ему захотелось закурить, но, непонятно по какой причине, он отказался от этой мысли. Спустя какое-то время боль почти утихла, а потом и вовсе прошла, и его глаза стали совершенно спокойными.

И тогда барон сделал нечто очень странное.

Он повернулся спиной к телу и сделал ногами быстрые движения, которые делают кошки и собаки, когда хотят прикрыть песком или землей следы своих испражнений. После этого он поднял руку с пачкой денег и, размахнувшись, швырнул ее подальше от себя. Затем он спустился на тропу с другой стороны от поворота, оперся на свою тросточку и стал ждать.

Когда пара поравнялась с ним, барон обнажил голову и отдал честь любви. Он долго приветствовал ее, держа котелок у сердца, и всем своим видом – жилеткой, маленькими усиками и багровым лицом – напоминал провинциального тенора, тянущего сентиментальное о атог! При прохождении королевского кортежа он склонился так низко, что чуть было не упал, и Энн улыбнулась этому странному джентльмену, а барон, прежде чем снова надеть маску невозмутимости, еще некоторое время стоял, сняв шляпу перед Ее Величеством Любовью. Его щеки были надуты, он поднес ко рту руку и слегка покачивался, словно прилагал невероятные усилия, чтобы не расхохотаться. Он уступил одно очко миру, но оно было единственным, которым последний мог похвастаться. Барон склонялся перед любовью, но ни перед чем больше; непроницаемый и высокомерный, он собирался продолжить свой путь под залпами кремовых тортов – этих падающих звезд человеческого горизонта. Он был уверен, что выпутается, несмотря на мысль, которую посвятил ему философ Мишель Фуко и в соответствии с которой «человек – явление новое, и все предвещает его близкий конец». Он чуть было не расхохотался, но сумел сдержать себя. Он выпрямился, поднял голову и, обратив лицо к свету, уверенным шагом начал спускаться по склону холма. Он уже давно взял себе в качестве девиза строки поэта Анри Мишо: *«Тот, кого заставил оступить какой-то камень, был в пути уже двести тысяч лет, когда услышал крики ненависти и презрения, которые, предполагалось, должны были испугать его»*.

Спустя примерно полчаса барон появился на Большом Карнизе. Это было впечатляющее зрелище.

Мальчишки, со свойственной детям жестокостью по отношению к пьяным, должно быть, сыграли с ним злую шутку, потому что он появился, сидя на осле спиной вперед и держа в руках ослиный хвост.

Он вновь обрел все свое достоинство.

XXVI

Мы сели в автобус, идущий в Мантон. Чемодан он отправил на вокзал еще утром, воспользовавшись услугой Эмбера.

Старый белый автобус был тем самым, на котором мы приехали сюда, не знаю, помнишь ли ты об этом.

Проезжая по дороге на мыс, мы подняли головы и увидели Рокбрюн, замок, церковь и дом с закрытыми зелеными ставнями, но, к сожалению, автобус свернул, и все скрылось за поворотом.

Когда ты оставишь меня в следующий раз, когда ты уедешь еще раз – в Абиссинию или в Китай, Чили, Перу, Вьетнам, Конго, Аргентину, Чехословакию, Никарагуа, Боливию, Южную Африку или освободить луну, когда мы расстанемся в предпоследний раз, то надо будет сделать это в парижском метро в час пик, в суматохе и толчее – у нас не будет времени заметить этого, мы выйдем на станции Шатле и скажем: ну все, пока.

Мы приехали в Мантон, и до отхода поезда оставалось еще полтора часа. Вот уже два дня для меня был самый благоприятный период, я захотела воспользоваться последним шансом и сказала ему об этом.

– Где?

– Мне все равно где.

Они пошли в отель напротив вокзала.

Нам дали сорок третий номер, на четвертом этаже. Мы поднялись пешком, потому что не было лифта. Держась за руки, мы сели на край кровати. Вошел коридорный в зеленом фартуке, с усталым выражением на лице, по нему было видно, что он уже привык к таким «постояльцам».

– Я забыл принести полотенца.

Одно полотенце он положил на умывальник, другое – на биде, но все это происходило где-то очень далеко, в другом мире, и потому не задевало.

Я разделась настолько, насколько это было необходимо, чтобы не терять времени.

Мы встали.

Я взял тебя под руку, но лестница была слишком узкой, и ты резко высвободила руку, как мне показалось – со злостью, но внизу я увидел, что ты плачешь, и мне стало легче.

Я рассчитался, и мы вышли на улицу.

Мы вошли в здание вокзала, и ты тут же побежал за чемоданом в камеру хранения, и ты быстро сжал мою руку, чтобы извиниться за то, что отпускаешь ее.

Потом я вернулся, чтобы попрощаться, но поезд уже подходил к перрону и останавливался всего лишь на минуту. Я почувствовал мокрую щеку на своей щеке, я видел за твоей спиной носильщика в синем комбинезоне, который с улыбкой смотрел на нас, пока ты рыдала на моем плече, и, мне кажется, я ответил ему улыбкой на улыбку. Наверное, это нечто вроде мужской застенчивости.

Я вскочил в вагон, когда поезд уже трогался, а она сделала несколько традиционных шагов по перрону, он высунулся из двери – рукав рубашки развевался на ветру – и стоял так до тех пор, пока не потерял ее из вида. Потом он вошел в пустое купе, сел у окна и посмотрел на пустое место напротив – место, зиявшее пустотой и хохотавшее над ним во все горло, и все пять мест, зиявших пустотой и хохотавших над ним во все горло; он слушал перестук колес,

которые смеялись над ним; он смотрел на голубое небо, которое паясничало на телеграфных проводах; и он остался со своим пустым рукавом и стиснутыми губами в Истории, в ее разверстой глотке, в хохоте и насмешке; он позволил увлечь себя, унести, поставить в строй, растворить в общей массе, и вернулся на арену священной борьбы, на арену идеалистического цирка, чтобы исполнить свой постоянно обновляющийся номер борьбы за правое дело, новые кульбиты и падения под крики «браво!», оскорбления и насмешки, окунулся в атмосферу ненависти и издевательства, при этом его единственным надежным союзником было сомнение, а окружавший его хохот – данью всему тому, что способно устоять перед смехом.

Он погиб в Индокитае: подорвался на mine, отправившись в сопровождении друга на секретную встречу, цель которой так и не удалось выяснить. Похоже, он долго бродил по нейтральной полосе, и не ясно, стал ли он жертвой ошибки, западни или же его подвело зрение. Что касается тех, кто всегда относился к нему с некоторым недоверием, как к опасному мечтателю, то они даже подозревали его в намерении перейти на сторону неприятеля. И только благодаря страничкам из записной книжки, которую он оставил в чемодане, удалось установить некоторые из двигавших им мотивов. В частности, рядом с фразами полувековой давности, оказавшимися пустым звуком, – «Назад, пушки! Назад, пулеметы!», «Ни победителей, ни побежденных!», «Благородный мир! Почетный мир!» – была написана другая фраза, которой суждено было иметь успех намного позже и стать чрезвычайно популярной на других экранах: «За исторический компромисс». Последними словами, которые можно было прочесть в записной книжке, были: «С протянутой рукой...» Короче говоря, по выражению одного журналиста, «это как две капли воды напоминаю сентиментальную прогулку». Во время этой прогулки его путь совершенно естественным образом пролегал через минное поле.

Здесь нельзя не отметить и весьма странный аспект этого несчастного случая.

Минное поле находилось в глубине леса, и люди, которые нашли Рэнье, отметили, что по странному стечению обстоятельств его вытянутая рука сжимала хвост обезьяны, убитой взрывом. Обезьяна выглядела невероятно удивленной. Ла Марн лежал рядом со своим другом, вцепившись в его пустой рукав. На его лице застыло выражение мрачного удовлетворения, свойственное человеку, который всегда говорил, что все закончится именно так. Среди личных вещей Рэнье нашли фотографию знаменитой кинозвезды и – на одной из страниц записной книжки – начало цитаты из Горького, если не точный текст, то, по меньшей мере, точный смысл которой он, сам того не зная, все-таки нашел: «... на арене буржуазного цирка, где гуманные идеалисты и люди большой души играют роль грустных клоунов... Нет. На арене цирка, где грустные клоуны исполняют свой номер братства и примирения... Нет. Нужно будет уточнить».

В ближайшее время его тело должно быть доставлено во Францию.